

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



**ОГОНЁК**

№ 36

1983



*Иван ЛАЗУТИН*

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»

**БАБКИН ЛАЗАРЕТ**



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 36

---

Иван ЛАЗУТИН

# БАБКИН ЛАЗАРЕТ

ПОВЕСТЬ И РАССКАЗ

Москва. Издательство «ПРАВДА»  
1983

## *Иван ЛАЗУТИН*

*Иван Георгиевич Лазутин родился в 1923 году в селе Пичаево Тамбовской области. В 1941 году окончил среднюю школу в Новосибирске и был призван на Тихоокеанский флот. В 1943—1944 годах солдатом огневого взвода в гвардейских минометных частях участвовал в боях на 1-м и 2-м Белорусских фронтах.*

*После войны окончил юридический факультет МГУ и аспирантуру, преподавал в Московской юридической школе.*

*Иван Лазутин — автор популярной повести «Сержант милиции» (1955), романа «Суд идет» (1962), которые в сценических вариантах обошли театры многих городов. Затем автор опубликовал книгу «Родник пробивает камни» (1974), романы «В огне повенчаные», «Крылья и цепи» (1979).*

*И. Лазутин — член СП СССР.*

## БАБКИН ЛАЗАРЕТ

(повесть)

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,  
Как шли бесконечные, злые дожди,  
Как кринки несли нам усталые женщины,  
Прижав, как детей, от дождя их к груди...

*К. Симонов.*

Как-то, наводя порядок в своем письменном столе, где иногда накапливается столько необязательных бумажек и наспех брошенных писем, я совершенно случайно наткнулся на реликвию военной давности — на иконку, выпавшую из старой, уже пожелтевшей записной книжки. На маленькой, не больше игральной карты, тонкой картонке был изображен лик Георгия Победоносца.

Нахлынули воспоминания, связанные с иконкой. Я даже не заметил, как в мою комнату вошел сын, озорной, дотошный пятиклассник, и, подкравшись ко мне из-за спины, как он это часто делал, крепко обнял меня. На его языке это означало: «Доброе утро, папа, я встал...»

Я даже потом, спустя полчаса, не мог понять, почему я так резко и так поспешно, словно застигнутый за чем-то неприличным, попытался спрятать иконку, чтобы ее не видел сын. Но дети есть дети. Горизонт их любопытства уходит в бесконечность. А запретный плод для них в сто раз слаще, чем для взрослых.

— Папа, ты чего спрятал? — спросил сын и строго, как-то не по-детски посмотрел на меня.

— Это так, сынок... Документ один, — попытался отговориться я, но это сына не убедило.

— Папа, это не документ. Я знаю, что это.

— Что?! — в раздражении вырвалось у меня.

— Это иконка. Я знаю... Документы бывают не такие.

— Ну и что ты хочешь сказать этим?! Ну, допустим, иконка, а дальше?

Мой раздраженный тон явно не понравился сыну. Его желание повзрослеть со мной и по-сыновьи пообщаться в это прекрасное воскресное утро, когда в его комнатке не трещит будильник и когда через полукрытую дверь после звонка до его слуха не доносится голос матери с одними и теми же неприятными словами побудки: «Сынок, вставай...», «Ну, сколько можно тебя будить?», «Опоздаешь в школу...» — сразу погасло, — оттолкнул мой тон, холодный, с нескрываемым раздражением.

— А еще коммунист!.. Еще в партбюро неделю назад избрали... — Сын стоял среди комнаты с кислой физиономией и отчитывал меня. Я даже растерялся. Первую минуту я не знал, что ему ответить, смотрел на него и сразу не мог сообразить: кто из нас прав? Что нужно делать: строжиться, немедленно выгнать его из кабинета, сказать, чтоб не совал свой нос в дела взрослых, или... поговорить. Причем поговорить серьезно, по-отцовски. И пока я раздумывал, какое мне принять решение, сын вскочил на стул, с книжной полки достал том в темном переплете и положил передо мной на стол.

— Прячь свою иконку вот в эту книгу. Чего ей зазря стоять!

Передо мной лежала «Библия для неверующих», которую я купил год назад, но так еще и не удосужился перелистать.

Вот тут-то уж я понял, что окриком здесь не обойдешься, тут нужна тонкая, умная беседа, вернее, рассказ, причем рассказ честный, о том, как попала в мою старую записную книжку крохотная бумажная иконка Георгия Победоносца.

— Ты завтракал? — спросил я.

— Нет, — ответил сын, все еще глядя на меня исподлобья.

— Тогда ступай позавтракай, и я расскажу тебе об этой иконке. — Я отодвинул ящик стола, достал из него иконку и подал ее сыну. Он долго и внимательно рассматривал ее и, ничего не сказав, протянул мне.

— Вначале расскажи, а потом буду завтракать. — Сын уселся поудобнее в кресло и приготовился слушать. Он всегда любил слушать, когда я рассказывал о войне.

...В марте 1944 года, после успешно проведенной артподготовки, в результате которой под нашими гвардейскими снарядами легла целая неприятельская дивизия, занимавшая город Энс, наша бригада, прорвавшая во взаимодействии с пехотой линию вражеской обороны, была отведена на кратковременный отдых в небольшой белорусский городок Речица. Со своим неразлучным другом сержантом Алексеем Вахрушевым мы определились на постой к одинокой старушке, которую все звали по-простому бабкой Василисой. Была она кругом одинока: дочь угнали в Германию, два сына погибли в партизанах, муж погиб в гражданскую — и жила до

того бедно, что трудно представить, как она до сих пор таскала ноги и не померла с голода и от нужды. Кроме нескольких мешков картошки, чудом сохранившихся после отступления немцев, у старухи не было ничего. В избе хоть шаром покати — голые стены и голые сосновые лавки вдоль стен. Расшатанная деревянная кровать была накрыта грубым рядном, которым бабка укрывалась ночью, подкладывая под голову какое-то тряпье. Даже подушки — и той не было у старухи. А когда сержант спросил, где же ее подушки, неужели и их немец взял, бабка Василиса вздохнула и махнула рукой.

— Все, что у меня было, увезла сыновьям в партизанские землянки. Сама ютилась у двоюродной сестры до прихода наших, а когда вы пришли, то надумала умирать в родной хате. Хорошо, что бульбочка спасает. Да, ничего, мне-то что... Вот вам бы домой живыми-здоровыми вернуться. — Бабка встала и трижды перекрестилась на иконку, висевшую в правом переднем углу. Остальную обстановку хаты довершали колченогая сосновая табуретка, грубо сбитый квадратный стол, до того расшатанный и так заскобленный, что сучки в досках выпирали, словно бугры-нарывы на золотушном теле больного человека. Из-под печки торчали черные ручки ухватов и клюки. Даже ведро с водой и то было в нескольких местах залеплено не то глиной, не то воском.

Вставала бабка Василиса рано. Наспех умывшись, как кошка лапой, она тихо, бесшумно, чтобы не разбудить нас, опускалась на колени и долго молилась, кладя земные поклоны, и при этом что-то нашептывала.

Первое, что делала бабка после утренней молитвы, это лезла в подпол и доставала оттуда полведра картошки. Потом, склонившись над чугуном, чистила картошку, растапливала неведомо откуда принесенными дровишками печь, бесшумно на катке закатывала в нее чугун с картошкой и уже почти не отходила от печки.

Сержант Вахрушев с самой осени страдал фурункулами. Не успеет пройти один — где-нибудь поблизости назревает другой. С наступлением весны фурункулез обострился. С ног и груди чирьи переползали выше, к голове. А последние две недели он и вовсе не мог поворачивать голову. Окликнешь его — он на зов поворачивался по-волчьи, всем телом. Командир батареи посылал его в бригадный медсанбат, поговаривал о госпитализации, но Вахрушев, закрыв глаза, еле заметно молча покачивал головой: не хотел отставать от своей части. Ведь с нею он участвовал в жестоких боях на Орловско-Курской дуге, где горело все: земля, железо, небо, люди... Сколько боевых друзей осталось лежать в земле, которая в истории войн навечно врублена под именем «дуга».

На третий день своего постоя у бабки Василисы мы привезли ей огромную машину дров, благо что леса белорусские, как нам на солдатский глаз казалось, простираются без конца и края. Сосновые, смолистые дрова горели дружно, звонко постреливая в печке.

Испилили, искололи их до последнего бревна, высокой поленницей сложили в сенцах и в чулане. Бабка радовалась, не знала, чем угудить нам. И все выискивала случай ответить на нашу заботу добром: то выстирает, пока мы спим, портянки, то сапоги вымоет и смажет березовым дегтем, который у нее еще с довоенных времен висел в чулане в черепашке. Когда мы узнали, что она уже давно не стирала с мылом (да и что ей стирать-то было — одному богу известно), то принесли ей целое ведро жидкого пахучего мыла. Она вначале сочла его за деготь, а когда поняла, что это мыло не хуже, а даже лучше твердого, в кусках, то тут же полезла в погреб, достала оттуда несколько молочных крынок, затянутых паутиной и подернутых пылью и плесенью (молоко в них бабка наливала до войны), и принялась в них опрастывать ведро.

В тот же вечер бабка по-жаркому, не жалея дров, истопила соседскую баню, а когда мы вымылись и переоделись в чистое белье, что получили от старшины батареи, бабка прожарила в бане над раскаленными камнями наше грязное, потное белье, выстирала его, за ночь просушила у печки и утром прокатала рубелем. Сквозь сон я слышал знакомый глуховатый грохоток, но никак не мог догадаться, что это за звуки доносятся из первой половины хаты. Но, открыв глаза, сразу все понял. И тут же мысленно представил свою бабушку, которая где-то далеко в Сибири вот так же стоит у стола и катает рубелем белье.

Сухой паек, который мы получали с сержантом, полностью отдавали бабке. А когда она увидела на столе перед собой большой, граммов в триста, кус сахара, то даже прослезилась.

— Господи!.. Неужели люди снова будут жить, как люди? Больше двух лет не пила чай с сахаром. Даже отвыкла. Как будто его сроду и не было. Да только не откусить мне его, всего три зуба осталось. Уж я как-нибудь без сахара, детки мои хорошие. Я-то по-стариковски обойдусь и без сласти.

Всякий раз, когда мы втроем садились за стол и начинали наше солдатское пиршество (а для наголодавшейся Василисы наши обеды и ужины казались поистине пиршеством), бабка, расчувствовавшись, не раз подносила к влажным глазам уголок своего клетчатого платка. А кормили нас, гвардейцев, хорошо. Все было: и мясные консервы, и полторы буханки хлеба на день, и сахар, перепалада и душистая американская тушенка... Ну и, конечно, из песни слова не выбросишь: «...По сто грамм нам положено, фронтовой наш паек...». Правда, после первого нашего общего обеда, когда сержант налил бабке «лампадку» водки, она замахала руками и наотрез отказалась:

— Ни капли!.. Грех... Пейте сами. Зарок дала.

Мы не стали настаивать, так как и самим-то было мало, да к тому же не хотели нарушать бабкиного зарока.



Спала бабка Василиса, как сверчок, на узенькой лежанке между русской печкой и глухой, давно не беленной стеной. Постелью ей служил холщовый мешок, набитый уже слежавшимся и давно превратившимся в труху сеном, в изголовье пестрели какие-то тряпки, и все это было накрыто стареньким ватным одеялом из разноцветных лоскутков-треугольников.

Сержант Вахрушев из-за фурункулеза (бабка в первый же день сказала: «Первое средство от чирьев — тепло и хороший харч...») свил себе гнездо на русской печке, где при его почти саженном росте приходилось спать скрючившись и, как он шутил, «по диагонали». Правда, слово «диагональ» бабка Василиса поняла по-своему, по-бабьему, по-довоенному.

— Эх, Алеша, какая тут диагональ?.. Сейчас бы хоть ситчику на белье да аршин десять милюстину, чтобы справить себе смену. А то ведь в чем в подпол, в том и в церковь. Прямо грех на душу берешь. А где взять? Да и на что?.. — Бабка вздохнула, а сержант не стал напрягаться, чтобы объяснить старушке, что та диагональ, о которой он сказал, вовсе не материал.

Я устроился на широкой деревянной кровати, накрытой рядном. В изголовье приспособил старую фуфайку из списанного обмундирования, которую выпросил у старшины на ветошь для протирки боевой машины. Накрывался шинелью. Для пинских болот, где ни вырыть блиндаж, ни укрыться в землянке, наш постой был роскошью. А чтобы шло тепло и в мою комнату, дверь днем и ночью была настежь открыта, и мне было хорошо видно, как сержант Вахрушев, кряхтя и не поворачивая головы, осторожно, медленно и со сдержанным стоном размещался на печке «по диагонали» и замолкал.

Словно помогая нам наверстывать старый «недосып» (это время среди фронтовых солдат прочно жила теркинская тактика «спать за прежний недосып»), бабка не жалела дров, топила печь так, что краснел пол и ожившие тараканы тучами ходили по чувалу печи и по потолку над сержантом, который насчет тараканов сделал свое веское заключение: «Русская печь без сверчка и тараканов — все равно что свадьба без гармонии». Эта шутка бабке понравилась. И она не замедлила подкрепить философское обобщение Вахрушева:

— Что верно, то верно. Сверчок да таракан не в каждой избе приживаются. Их к добру тянет. Рядом со злым человеком сверчок дохнет, а таракан уходит к соседям. Это еще до меня старики заметили, я, когда была девчонкой, слышала это.

А сержант, обжигая о горячие кирпичи бока, подтыкая под себя шинель и вещмешок, подавляя стон, шутил:

— Бабуся, эдак я взорвусь, как бочка с порохом!.. Кирпичи уже шипят.

— Грей, грей косточки-то, — ворчала бабка с материнской сердечной теплотой, закрывая задвижки в трубе. — Хворь простудная боится тепла, как черт ладана.

Как ни гнал мой друг простуду теплом, она его все-таки одолевала. Четыре фурункула, вскочившие на шее ниже затылка, разбухали все сильнее, наливались кровью и сплывались в единый огромный нарыв. Временами сержанта прошибал пот, у него поднималась температура, — я это ощущал без градусника приставленной к горячему лбу ладонью, — и он, мокрый, как мышь, тяжело дыша, тихо стонал.

Я уже в который раз принимался уговаривать его лечь в госпиталь, а не глотать таблетки стрептоцида, которыми его с самой зимы пичкал наш военфельдшер. Но сержант был неумолим.

— Ты что, хочешь сбегать меня из гвардии в какой-нибудь хоззвод запасного полка?! Нет, Ваня, шалишь... Мы еще дадим с тобой гвардейские залпы по Берлину. А в Берлине, говорят, есть какой-то рейхстаг, откуда идут все команды фашистов и где находится главный кабинет Гитлера.

Я видел, что все мои уговоры бесполезны, и умолкал. Я хорошо понимал сержанта. Провоевать всю войну на «катюшах», пережить ад Орловско-Курской дуги и остаться живым, потом с тяжелейшими боями форсировать Днепр, на обоих берегах которого похоронили лучших боевых друзей, и вдруг из-за каких-то фурункулов, которые и раньше, до войны, не раз и не два беспокоили его, отстать от своей части.

На пятый день жительства у бабки сержант к обеду не встал: сказал, что пшенный суп ему осточертел. Отказался он и от поданной ему на печку рисовой каши с жирной американской тушенкой, которую бабка сварила на духу в печке. Когда я, поднявшись на приступок печки, протянул ему стакан водки — нашу общую дневную норму, он болезненно искривил лицо.

— Не могу... Голова... Раскалывается... Как будто в ней пожар... И боль...

Видя, что болезнь принимает серьезный оборот, я отложил обед и пошел к дивизионному военврачу, который со своим медпунктом расположился в уцелевшем крестовом доме на соседней улице. Но как назло военврача в медпункте не оказалось. Пришлось вести разговор с дежурной медсестрой, которая о фурункулезе сержанта уже знала давно и, так же как и я, советовала ему лечь в госпиталь.

— У него уже не фурункулы, а огромный карбункул, и не где-нибудь на теле, а у самой головы, где проходят крупные кровеносные сосуды к мозгу. С этим шутить нельзя. А то с его упрямством будет ему и Берлин и рейхстаг, — ворчала медсестра, семена следом за мной.

Маленькая и, как веточка вербы, тоненькая, в больших сапогах, и туго перехваченная широким командирским ремнем, который опоясывал ее чуть ли не два раза, медсестра в свои восемнадцать, от силы двадцать лет напоминала мне моих школьных сверстниц сорок первого года, с которыми мы танцевали на выпускном вечере школьный вальс за два дня до начала войны.

Шмыгая носом, она сняла шинель и, как козленок, легко забралась на печку с градусником в руке. Сунув его под мышку сержанта, она принялась расспрашивать его о самочувствии, а сама держала свою маленькую холодную ладошку на лбу больного. Сержант словно выдавливал из себя слова.

Сестра аккуратно разбинтовала шею сержанта, зажгла спичку и молча осматрела фурункулы больного.

— Где больше болит? — тихо спросила она.

— Голова... С затылка...

— Кроме стрептоцида, ничем помочь не могу. А его ты переглотал дай боже. Влияет на сердце. Тебе бы порошков десять пенициллина. Это так хорошо помогает при фурункулезе. Но его у нас нет.

— Заходил я вчера в медсанбат соседней пехотной дивизии, просил, хотел даже купить, но он, говорят, на вес золота, — сказал я сестре. — Но старшина обещал.

Не зная, чем помочь больному, сестра рассеянно смотрела на ручные часы, сторожа время, чтобы взять у больного градусник.

— Да, температура высокая, — вздохнув, сказала сестра и стряхнула градусник. — Тридцать восемь и пять. В госпиталь, немедленно в госпиталь! — Гремя сапогами, она стала слезать с печки. — Я сейчас же иду к военфельдшеру и выписываю тебе направление. А ты, — она посмотрела на меня, словно я был у нее в подчинении, — сейчас же иди к начальнику штаба и выписывай на сержанта аттестат... С такой температурой шутить нельзя.

Упоминание о госпитале резануло сержанта как ножом по сердцу. За войну он уже три раза лежал в госпиталях: два раза по ранению и раз после контузии. Кроме больничной тоски, запаха лекарств и коечных смертей, ничего в госпиталях он не увидел. Лежать в одной палате со слепыми, с безногими, с искалеченными на всю жизнь...

— Сестрица, пока не нужно... подождем еще денька два, постараюсь здесь отлежаться... Старшина медсанбата мне обещал достать десять грамм пенициллина. Думаю, не обманет.

Поздно вечером, часу в одиннадцатом, сержанту стало хуже.

Я курил папиросу за папиросой, чутко прислушиваясь через открытую дверь к звукам, доносившимся из соседней комнаты, откуда время от времени в равномерную однотонно-скрипучую песнь сверчка вклинивались протяжные глухие стоны, перемежающиеся сдавленными всхлипами. Потом до слуха моего донеслись знакомые звуки металлического цоканья. Как бывалый солдат, более двух лет проносивший на груди автомат, я знал, что такое цоканье получается, когда досылаешь в патронник автомата патрон, чтобы сделать одиночный выстрел. «Неужели он, черт, задумал?..» — пронеслась в голове моей страшная догадка, и я, сбросив с себя шинель, вскочил с кровати. Через несколько секунд я был уже на печке рядом с сержантом. Автомат, который днем висел на крюке, вбитом в стену возле печки, теперь лежал около него, дуло находилось на уровне головы Вахрушева.

— Ты что надумал, Пичава?! С ума сошел?!

— Не могу, Ваня, сил больше нет терпеть... — И тут же я услышал горькие рыдания. Плакал солдат, который в лицо видел смерть и ни разу не дрогнул перед ней. А тут...

— А ты терпи! — почти закричал я на сержанта, взял в руки автомат, разрядил его и спустился с печки. Меня всего трясло. После артобстрелов и бомбежек, под которыми приходилось лежать не раз, меня не бил такой колотун. Хорошо, что сердце словно почуяло беду, и я, ворочаясь, долго не мог заснуть, ловя чутким ухом звуки, доносившиеся из кухни. Я оделся, закурил и уже хотел было идти за фельдшером, но меня остановил голос сержанта, жалобно доносившийся с печки:

— Не ходи, два местных госпиталя забиты ранеными, повезут в тыловой... А до него...

— Ну и хорошо, — возразил я. — В тыловых госпиталях лучше лечат.

— Но это несколько дней тряски... — еле слышался с печки голос Вахрушева. — В грузовике, потом в вагоне... Не выдержу... Не могу шевельнуть головой.

Я снова залез на печку, сел рядом с сержантом и принялся его уговаривать:

— Да ведь и так дальше нельзя... Какие муки-то принимаешь, а там как-никак врачи, есть даже профессор. Вылечат как миленького, получишь аттестат в зубы и нагонишь нас... Мы к этому времени будем где-нибудь уже у границы, если, конечно, будем живы...

— Нагонишь вас... А как миновать пересыльный пункт? Там не разбираются, кто ты — гвардия или не гвардия.

— А ты сделай, как Митрошкин. Тот мимо пересыльного пункта продул на четвертой скорости. Вышел на «варшавку», голоснул четвертинкой и к вечеру был уже у себя в батарее. Не падай только духом. Язык до Киева доведет. Что у тебя память, что ли, отшибло: Первый Белорусский фронт, 5-я гвардейская минометная дивизия резерва Главного командования, 22-я гвардейская минометная бригада, а там-то свой-то дивизион, свою-то батарею, свою братву найдешь с завязанными глазами, — утешал я сержанта и в ответе зажженной спички видел, что слова мои на него подействовали.

— Ну, ладно... Только сейчас не ходи, лучше утром, — тихо проговорил он. — Заверни мне, у меня табак под подушкой.

Я завернул добротную самокрутку, прижег ее, раскурил и, нашарив в темноте руку сержанта, вложил ее ему в пальцы.

И вдруг в темноте избы откуда-то снизу, из-за печки раздался скрипучий голос бабки:

— Вань, зажги свою лампадку, я встану...

Лампадкой она называла нашу блиндажную «люстру», сооруженную из гильзы 45-миллиметрового снаряда, в которую мы

засовывали ленту шинельного сукна, потом сплющивали обрез гильзы и наливали в нее бензин, предварительно растворив в нем горсть соли, чтобы бензин не вспыхивал. Это изобретение, как рассказывали бывалые солдаты, появилось еще осенью сорок первого года в боях за Москву.

Я слез с печки и зажег «люстру». По избе разлился печальный желтоватый свет. Вылезла из своей конуры и бабка.

Нащупав ногами в темных шерстяных чулках валенки с прохудившимися литыми галошами, которые в войну местные умельцы научились клеить из негодных автомобильных камер, она обулась, набросила на голову свою клетчатую вигоневую шаль и обратилась ко мне:

— Ванюшка, ты посвети мне своей лампадой в сенцах, я на чердак слажу.

По ветхой лесенке, приставленной к стене, она легко забралась на чердак и скрылась в его черном зеве. Я стоял с высоко поднятой над головой «люстрой» и ничего пока не понимал. Прошло минут пять, которые показались мне бесконечно длинными. Наконец в световом ореоле тускло освещенных сенок сверху показалась седая раскосмаченная голова бабки, чем-то напоминающая разбитый колесами придорожный репей. По спине моей пробежал холодок, когда мой взгляд встретился с ее бесцветным взглядом. Я даже отступил на шаг.

Но мои опасения, что бабка спятила, постепенно улеглись, когда она осторожно слезла с чердака, держа в одной руке какой-то узел, и вошла в хату.

— Пойдем, будешь помогать мне. Мы вылечим нашего Алешу не хуже, чем в вашем госпитале.

С этой минуты я делал то, что приказывала мне бабка. Ее быстрые движения внушали мне веру, что она многое знает и может помочь сержанту.

Развязав узел, она вывалила из него на стол огромный пук льна, который на наших глазах разрастался и раскладался по столу. Поставив «люстру» на загнетку печки, я с затаенным дыханием следил за каждым движением бабки, которая своими сухими изработанными, но еще крепкими, жилистыми руками проворно теребила лен и клала на край стола дымчатые невесомые кучки. Наконец я решился задать вопрос:

— Для чего это, бабуля?

— Все будешь знать, Ванюшка, скоро состаришься,— ответила она, продолжая пухлатить лен и складывать почти невесомые пучочки по краям стола.

— А теперь дай мне спички и подсади на печку.

Я отдал бабке свои спички и, пододвинув к печке лавку, помог ей забраться к сержанту и подал ей распухшие пучки льна.

— Ну, а теперь, Алешенька, будем лечиться. Это тебе не порошки. Порошки так себе, вся сила в тепле да в огне. А ну, ложись на живот!..

С трудом поворачиваясь, сержант, кряхтя, медленно повернулся вниз лицом и поджал под грудь руки. Бабка цепкими и быстрыми пальцами сняла с его шеи уже грязную повязку, положила ее в сторону, зажгла спичку и, вода ею над головой Вахрушева, внимательно осмотрела воспаленную, отдающую стеклянкой глянцевиостью шею, потом трижды перекрестилась и задула спичку.

— Давай поближе к нам лампаду! — командовала мне бабка.— Да подай пару сухих лучин с загнетки да полотенце.

Я сделал все, что велела бабка: подал ей лучину, полотенце, поднялся с «люстрой» на скамейку и поднес ее поближе к изголовью сержанта.

Что-то пошептав, бабка Василиса взяла пушистый пучок льна и, аккуратно раздергивая его в стороны, положила на шею больного. Зажженной лучиной она тут же подпалаила лен, который вспыхнул ярким голубоватым пламенем. Он горел недолго, всего пять-шесть секунд, но мне со стороны казалось, что пламя огня причиняет больному нестерпимые муки. И снова что-то пошептав, когда над головой сержанта металось голубоватое пламя, бабка проворно взяла полотенце, лежавшее у нее под руками, и, раскинув его, накрыла им пламя, которое тут же потухло. Эту операцию она повторила несколько раз, пока не сожгла все заготовленные ею пушистые хлопья льна. Моя рука уже устала держать «люстру», а бабка все поджигала и поджигала раздерганные пучки и не переставала нашептывать какие-то причитания.

Или больному в самом деле стало легче, или он уже до того был измучен, что у него не было сил даже стонать, но дыхание его стало ровнее, и весь он как-то затих, успокоился, словно чего-то ожидая.

Я посмотрел на часы. Более двадцати минут жгла бабка Василиса на воспаленной шее сержанта льняные одуванчики и всякий раз гасила пламя полотенцем тогда, когда голубоватый огонь почти подбирался к телу больного.

— Ну вот, а утречком погреем еще разок, оно, глядишь, и полегчает,— приговаривала бабка, подавая мне руку.

Я помог ей слезть с печки. И снова, уже с пола, она перекрестила сержанта, а мне велела ложиться спать.

Я послушался бабку, завернул добрую самокрутку, раскурил ее от пламени «люстры» и передал ее больному сержанту.

Уснул я быстро. Мне снились какие-то пожары, вспышки огненных разрывов снарядов, кто-то невидимый подавал одну и ту же назойливую команду: «В окоп!.. Кому говорят — в окоп!..» Я метался по сторонам, искал глазами хоть маленький окопчик, хотя бы ложбинку или канавку, но кругом меня лежала плоская, как стол, равнина со вспышками взрывных огней.

А когда я проснулся, было уже утро. Из узеньких оконцев в мою комнату сочился свет мартовской оттепели. Через открытую дверь мне

было хорошо видно, как бабка Василиса, сидя на печке, прикладывала к шее сержанта пушистые хлопья льна, поджигала их и, дождавшись какого-то особого, одной только ей известного момента, накрывала пламя холщовым полотенцем и держала его в этом положении не больше полминуты. Чтобы засечь время, я специально следил за движением секундной стрелки своих наручных часов, которые выменял на трофейный фотоаппарат, найденный в немецком блиндаже.

Три последующих дня бабка утром, в обед и вечером залезала на печку с охалкой распущенного льна и врачевала сержанта огнем, и с каждым разом настроение больного поднималось, он уже почти совсем не стонал и раза два за день спускался с печки, выходил на улицу и возвращался в хату повеселевший, даже пытался шутить:

— Ну, бабуся, я пошел на поправку. Вот dokonчим проклятого Гитлера в Берлине и поедем по домам. А по дороге домой заеду к тебе, куплю мешка три льна, так что восполним полностью твои оскудевшие запасы.

Чтобы не расстраивать сержанта и не наводить его на грустные мысли, я не стал говорить, что лен у Василисы уже кончился два дня назад и что я заметил, как она рано утром, пока мы спим, набирает в подполе ведерко картошки и потихоньку отправляется с ним к кому-то из соседей. Возвращается уже облегченно: вместо картошки в ведре у нее пучки льна. Я было попытался сказать ей, чтобы она не тратила на лен последнюю картошку, что у нас есть, на что его выменять, она замახала руками да еще выговорила мне:

— Не твое, Ванюша, дело. У нас с соседями свои дела. Уж как-нибудь сосчитаемся.

А в тот день, когда сержант Вахрушев обнял меня и крепко прижал к своей груди, на которой рядом с медалью «За отвагу» лучился новенький орден «Славы», я очень остро ощутил в душе своей какой-то необъяснимый священный трепет поклонения этому высокому чувству, имя которому — окопное братство.

— Спасибо, Ваня... Если бы не ты... тогда... когда отобрал у меня автомат... — В глазах сержанта были слезы, и он не стыдился их. Мы стояли посреди двора вдвоем, а над нами на ветхой стрехе сидел воробей и, глядя на нас, делал поклоны и весело чирикал.

— Ты погляди на него, — показал я пальцем на воробья, — такой же, как у нас в Сибири: серенький, пушистый, веселый.

— У нас вся Тамбовщина воробьями обсыпана, — широко улыбаясь задрал голову, отозвался сержант. — Ведь живет же себе, почикивает, никакая ему война нипочем, не берут и фурункулы. Молодец!..

— Он неистребим и вынослив, как окопный солдат, — вырвалось у меня.

— Потому что этот воробей российский, — поддержал меня сержант. — Немецких мы еще не видели, вот дойдем — посмотрим, годятся ли они в подметки нашим.

За время болезни сержант отошел и осунулся лицом. Туго затянутый ремень делал его фигуру похожей на осину. Казалось, что он даже ростом стал выше.

— Пошли! — Он потянул меня на улицу.

— Куда? — По лицу сержанта, по его улыбке я почувствовал, что он что-то задумал.

— В лес. Посмотрим, как там работает весна.

Около часа мы шли до ближнего леска. Кое-где в ложбинках да в воронках белыми бликами еще лежал снег, но дорога была уже изрядно развезжена, и от нее подымался легкий парок. Мимо нас к линии фронта тянулись одна за другой груженные продовольствием, снарядами и бочками с бензином машины. Пустая транспортная полупторка даже остановилась, хотя мы и не «голосовали». Из кабины высунулась голова:

— Подвезти, пехота?..

— Гвардейски благодарствую.— Сержант помахал шоферу рукой.— Вышли на прогулку.

На опушке леса мы остановились и свернули с дороги. Сержант шел впереди, я шел за ним. Глазами он все чего-то выискивал, скользья взглядом по вершинам стайки молоденьких елочек, стоявших вперемежку с березами, по которым, несмотря на близость дороги, не прошел разрушительный каток войны. Елочки, как на подбор, были одна стройнее другой, словно вспархивали своими круговыми ярусами веток в голубое небо, с которого солнце проливало водопад лучистого тепла и света.

— Ваня, ты глянь на эти елочки: все вроде бы одинаковые, будто одно семейство, словно ржаное поле одного посева, а когда взглядишься хорошенько — нет двух одинаковых елочек во всей этой рощице. Каждая имеет свое лицо, свой рост, свою стать, свой наряд. Я это давно заметил. Вот она какая, жизнь-то. Каждая козявка имеет свой облик.

— А я заметил, что есть в природе и другая примета или вроде бы тайна, — возразил я сержанту. — Природа иногда сама любит равнять.

— Ваня, ты меня не напрягай, у меня еще от фурункулов голова не остыла.— Сержант достал из кобуры трофейный «браунинг» и зарядил всю обойму.

— Ты это зачем? — насторожился я, хотя по добродушной улыбке сержанта видел, что ничего дурного делать он не намеревается.

Все в бригаде знали, что в стрельбе из пистолета сержанту не было равных. На расстоянии двадцати шагов он попадал в пятак, с тридцати шагов раскалывал вдребезги граненый стакан.

— Видишь эту елочку, левее березки? — спросил сержант, взглядом показывая на молоденькое деревце.

— Вижу.

— Мне кажется, что в прошлом году она подросла больше, чем ее соседка-подружка справа. Тебе не кажется, Вань?



— Да, на целых десять — двенадцать сантиметров она повыше, чем та, что рядом слева, — согласился я, все еще полагая, что он хочет найти какой-то новый ход.

— Хотя я и не бог, но я их сейчас сравню. Постараюсь первым выстрелом. — С этими словами сержант поднял «браунинг», прищурился и начал целиться. Целился он долго-долго, несколько раз опуская и снова поднимая руку. И я заметил, что рука его слегка дрожала. «Неужели попадет?» — подумал я и затаил дыхание.

И вдруг с сержантом словно что-то произошло. Опустив «браунинг», он с минуту стоял неподвижно, о чем-то задумавшись.

— Слабо? Рука дрожит? — подначивал я, в душе почему-то уверенный, что он обязательно промахнется.

— Не могу... Раньше это делал запросто. А сейчас не могу. Не поднимается рука. А ведь сколько я состриг этих молоденьких вершинок. Только сейчас понял, что занимался душегубством.

Мы прошли в глубь леса еще шагов сто и остановились. Сержант облюбовал невысокий пенек, поставил на него коробок спичек и молча отмерил в сторону дороги тридцать намашистых шагов. Снова поднятая рука, в которой он держал «браунинг», мелко дрожала. Теперь я очень хотел, чтобы он не промахнулся. И он выстрелил. Я даже по-детски радостно взмахнул руками, когда на моих глазах с пенька брызнули во все стороны спички.

— Ну, ты даешь! — только и смог сказать я. — Не зря о тебе начальник штаба рассказывал, что из своего «браунинга» ты на лету попадаешь в ворону.

— Так вот, Ваня, больше я по воронам и по еловым вершинкам бить не буду. Пусть живут себе на здоровье. А ты знаешь, зачем я позвал тебя в лес?

Я пожал плечами:

— Прогуляться.

— Нет, не только прогуляться.

— А зачем же?

— Затем, чтобы сделать этот мой последний выстрел из моего «браунинга».

— Почему последний? — Я решительно недоумевал.

Сержант протянул мне «браунинг».

— Это — лучшее, что имею. Бери.

В Речице мы простояли еще четыре дня. Сержант Вахрушев заметно окреп, дважды в день медсестра делала ему перевязки, а бабка Василиса по-прежнему продолжала лечить его огнем. Правда, лен теперь она выменивала не на свою картошку, запасы которой у нее таяли, а на консервы и концентраты, получаемые нами. Кое-что оставалось и бабке на черный день, когда мы покинем ее хату и двинемся дальше по дорогам войны.

Хотя апрель выдался теплый, солнечный, но по утрам еще стояли заморозки, затягивая лужи в корочки мутноватого стеклянного ледка. В одно из таких ранних утр в хату к нам кто-то постучал если не кованым каблуком, то по крайней мере увесистым кулаком. За стуком донесся хрипловатый голос наводчика Митрошенкова, который в этот час, будучи в карауле, бодрствовал.

— Сержант Вахрушев, приготовиться к выступлению. — И после некоторой паузы тот же голос, но на более низких, басовитых нотах долетел до нас: — Слышите? Выступление!

— Слышим! — крикнул я наугад, рассчитывая, что голос мой долетит до слуха Митрошенкова, и поспешно вскочил с кровати. Слез с печки и сержант. Завозилась в своей конуре и бабка Василиса.

Минут через десять мы с сержантом уже были почти в полном сборе. Весь наш нехитрый багаж вошел в вещмешки, не заполнив и четверти их. Остатки недельного провианта, полученного три дня назад, мы вручили бабке, она была так растрогана, что и не знала, как отблагодарить нас. Но ее успокоил сержант:

— Бабуся, я у тебя в вечном долгу.

Больше всего огорчало бабку, что она не покормила нас завтраком.

— Да что же они вечером-то не сказали, что уезжаете? — колготилась она у шестка, стараясь растопить сухие чурочки, если не сварить, то на худой конец разогреть нам кое-чего из остатков ужина.

— На войне, бабуся, вечером солдат не знает, где он будет завтра утром и что он будет делать, — приговаривал сержант, перевортывая портянку, которую он второпях навернул не совсем туго. — Жалко с тобой расставаться, но ничего не поделаешь — такая у нас работа.

А бабка, стоя посреди кухни, растерянно сокрушалась:

— Да это как же так-то?... И не поемши?... Вы хотя бы щец похлебали. Хоть и вчерашние, но еще не прокисли. Я сейчас разогрею, мигом... А пшено-то, пшено в горшке забыли!.. Ой, господи, а консервы-то ведь на целую неделю получили, а харчились всего три дня, чего же будете есть-то?..

И снова сержант пошутил:

— Топор, бабуся, сварим. Солдат не пропадет и без пшена и без консервов.

Расправив на шинели ремень, сержант по-уставному, как-то подчerkнуто торжественно, как к командиру, подошел к бабке, обнял ее и расцеловал трижды. Маленькая, согбенная, она головой еле доставала ему до плеча.

— Живи, бабуся, долго и помни нас, солдатиков, а мы тебя не забудем. Если останемся живы и будем возвращаться домой мимо Речицы, то обязательно заедем. Починим хорошенько крышу и переберем в горенке пол. А то он ходуном ходит. Спасибо тебе за все: за заботу, за уют и за ласку.

— Спасибо, Алешенька, спасибо тебе, родимый, дай бог вам в добром здоровье добить врага и возвратиться к своим матерям и отцам да братьям с сестрами.

Трижды расцеловал старушку и я. Поблагодарил за все добро. По ее старческим, морщинистым щекам привычно текли слезы. Она их даже не утирала.

Когда мы вышли во двор, со стороны соседней улицы, где под строгой маскировкой стояли наши боевые установки, у каждой из которых круглосуточно находился постовой караульной службы, привычное ухо уже уловило равномерный гул разогреваемых двигателей. Тонкий ледок похрустывал под ногами, когда мы вышли на улицу, схватившаяся за ночь грязь, подернутая хрупкой морозной корочкой, лопалась под подошвами сапог, обнажая черное, как гудрон, хорошо размешанное тесто. Из-за леса выплывал огненный диск солнца, обжигая своим золотистым багрянцем вершины деревьев и обдавая теплым дыханием продрогшую за ночь землю. На дороге, еще не тронутой рубчатой резиной автомобильных шин, лежали длинные тени от кольев уцелевшей изгороди. Утренняя свежесть весны холодком лезла за воротник шинели, под широкие рукава. Воздух был настолько хрустально-прозрачный и бодрящий, что на какие-то мгновения все, что окружало меня: дома, голые деревья, заборы, снующие взад и вперед фигуры людей в шинелях, дорога, льдистые лунки, — все это напомнило вдруг гигантский аквариум, где в родниково-прозрачной воде передвигались удивительно терпеливые разумные существа — люди. Все, что неподвижно окружало людей в шинелях, было лишь подобием морского дна, вымощенного умелыми руками тех, кто соорудил этот великий аквариум жизни, наливающийся новыми свежими соками весны и обновления под золотисторозоватыми лучами солнца. И наливается эта светлая жизнь новыми соками лишь для того, чтобы через час, два часа или три... познать, что, кроме жизни, на земле еще существует другая великая, противостоящая ей сила — смерть. Черная, холодная, как могильная земля.

Чувствуя на своей спине чей-то взгляд, я остановился и оглянулся. У ветхой калитки, которую я подремонтировал два дня назад, почти полностью заменив в ней полусгнившие доски, стояла бабка Василиса. Такой она и осталась в моей памяти на всю дальнейшую войну и на всю жизнь. Кутая сухонькие плечи в старый шерстяной платок, она, наверно, ждала, чтобы кто-нибудь из нас оглянулся. Первым это сделал я, следом за мной остановился сержант. Бабка легонько помахала над своей головой ладонью, а потом трижды перекрестила нас. Мы помахали ей на прощанье, повернулись и быстро зашагали в сторону, откуда доносился нарастающий гул заведенных «ЗИСов». «Эх, бабуся, бабуся, — подумал я, — как мало нужно тебе в жизни, всего лишь крохотная крупинка человеческого внимания и чьей-то заботы! Сама же ты за эту крупинку незримо для себя, становишься от этого лишь чище душой и богаче, раздариваешь людям целые глыбы доброты своего бездонного щедрого материнского сердца». Пока прогревали моторы и вытягивались в походную колонну, прошло около

двух часов. Несколько раз по цепи боевых расчетов проплывала команда: «Моторы!..» — и после нее утробно-земляной гул топил безлюдную улицу. Все ждали последующей команды: «По машинам!..» — после которой номера боевых расчетов нырнут под брезент, а командир расчета сядет в машину рядом с водителем. Но второй команды все не было и не было. Вместо нее по колонне поплыла новая команда: «Глуши моторы!..». А почему глушить — солдат расчета не знал. Не знал этого и командир боевой установки. Не знал даже командир взвода. Все эти команды шли от головной машины, где в окружении командиров батарей, начальника штаба и своего заместителя возвышался стройный, как тополь, наш командир дивизиона майор Шмигель. Со стороны мы следили за каждым его жестом, за каждым движением, стараясь угадать, какой будет последующая команда. А последней из всех подготовительных команд должна быть: «Походной колонной — марш!». Марш, чтобы где-то впереди дать такой вал огня, чтобы наша пехота встала в полный рост и пошла, пошла туда, где близился конец войны. Но, очевидно, по расчетам командования, трогаться нам было еще рано.

В девятом часу дивизион был выстроен в походную боевую колонну, моторы уже работали на малых оборотах, солдаты сидели под брезентовыми чехлами и мирно покуривали, словно над головами нашими затаились не могучие реактивные снаряды, разрыв каждого из которых нес в себе множество смертей, а рождественские подарки Деда Мороза. Война приучает ко всему относиться философски и вытравливает в душах сентиментальность. Поразить врага, уничтожить его становится привычкой и единственной работой солдата. Перекидываясь шутками, балагуря, мы ждали этой последней команды. Улица, на которой за все утро, как того требовал порядок построения боевой колонны, мы не увидели ни одного гражданского лица, была пропитана горьковатым дымком отработанного бензина. Митрошенков, еще прошлой осенью изрекший формулу построения боевой походной колонны: «Каждая мышка — в свою норushку», снова всех развеселил, когда, затянувшись крепкой бийской махоркой, грубокомысленно сообщил:

— Мышки давно в своих норushках, а те, что постарше, режутся на дорожке.

Сказав это, он приподнял брезент и показал в сторону столпившихся у головной машины командиров.

То, что я увидел в следующую минуту, заставило меня затаить дыхание. Я не верил своим глазам. Со стороны хвоста колонны по ходу машин трусила бабка Василиса. Ее пытались остановить постовые, но она, сердито отмахиваясь, бежала в сторону головной машины и все время, вскидывая голову и обращаясь к водителям, о чем-то спрашивала. Я догадался, что она ищет нас с сержантом Вахрушевым, а поэтому кулаком постучал по двери кабины, из которой тут же высунулся сержант.

— Чего?! — сердито окликнул он меня, свесившись всем корпусом из кабины.

— Гляди!.. Нас зачем-то ищет бабка. Может, чего оставили?

Теперь я отчетливо видел, что все командиры, сгруппировавшиеся вокруг командира дивизиона, и сам майор повернулись и смотрели в сторону приближающейся к нашей машине старушки.

— Чего будем делать? — спросил сержант, увидев из кабины бабку.

— Ты командир, решай. Мы сейчас на глазах всего командования.

Когда Василиса поравнялась с нашей машиной и увидела высунувшуюся из кабины голову Вахрушева и меня, машущего из-под брезентового чехла рукой, она остановилась и, тяжело дыша, проговорила:

— Наконец-то, господи, разыскала вас. Сколько вас много-то!.. Слазьте, я вам, сыночки, картошечки со свиной тушенкой сварила и хлебушка нарезала, а соседка троечку соленых огурчиков дала. Ну, чего же вы сидите?.. Слазьте, а то сейчас поехать велят и вы не успеете...— Видя нашу скованную нерешительность, бабка была готова расплакаться. Из-под шали у бабки выглядывал глиняный горшок с тушеной картошкой, запах которой доносился к нам даже под брезент полога. В этом горшке нам бабка варила три недели. Митрошенков и здесь не удержался от подковырки:

— Везет же людям!.. Им в рот кладут, а они выплевывают. Предложили бы мне — я бы ухитрился, как разделаться с этой бульбой.

— Нельзя нам, бабушка. Сейчас тронемся. Видишь — ждем приказа командира, — сказал сержант и рукой показал в сторону майора, который что-то говорил своим подчиненным и улыбался, глядя на нас.

— Это какого командира? — взгляд бабки метнулся в сторону головной машины. — Это вон того, высокого? В длинной шинели?

— Да, да, самого высокого. Это наш главный командир.

— Ну так что ж, если он главный. Я спрошу у него... Я сейчас... Глядишь, и разрешит. Небось, успеете доехать куда нужно.

Когда старушка кинулась с горшком в обнимку к командирам, тут и мне захотелось заплакать. От умиления, от тихой душевной радости и еще от чего-то такого, чему и слов не подобрать.

С командиром дивизиона она говорила совсем недолго, с полминуты. А когда, как на крыльях, распахнув на ходу шаль, семенила назад к нашей машине, лицо ее словно помолодело и светилось сиянием счастья.

— Разрешил, — запыхавшись, проговорила она, еще не добрав до машины. — Слазь быстрее! Чего мешкаете? — почти командовала бабка сержанту. — Так и сказал самый высокий: «Пусть поедят хорошенько — время еще есть».

Сержант бросил недоверчивый взгляд на бабку, потом в сторону командира дивизиона, и тот, очевидно, поняв замешательство Вахрушева, разрешающе махнул ему два раза рукой и кивнул головой.

Этот жест майора и его кивок головой понял и я.

Нас с сержантом как ветром сдуло с боевой установки. Отойдя шагов на десять от машины, мы принялись за завтрак. Бабка Василиса, покрасневшись, держала трясущимися руками горячий горшок с еще дымящимся парком, и мы своими походными ложками, обжигаясь, то и дело бросая украдкой взгляды в сторону командиров, уминали за обе щеки картошку со свиной тушенкой, прикусывая соленым огурцом, пахнущим чесноком и укропом.

Вряд ли когда-нибудь в жизни я буду есть с таким аппетитом картошку, с каким мы ели ее с сержантом Вахрушевым в апреле 1944 года на глазах всего дивизиона, не успевшего перед неожиданным выступлением позавтракать.

Под отвернутым чехлом установки сидели солдаты нашей роты и, глотая слюнки, глядели, как мы с Вахрушевым подчищали горшок с тушеной картошкой.

Вдруг откуда ни возьмись из-за соседней машины вывернулся помпотех дивизиона, слывший среди командиров дивизиона умением за один присест разделаться с булкой хлеба и полкилограммом тушенки. О его завидном аппетите ходили легенды.

— Вы что, у тещи в гостях или в боевой обстановке? — закричал капитан и, глотая слюнки, стоял и смотрел на нас такими глазами, как будто в следующую минуту он кого-нибудь из нас ударит: или меня, или сержанта. — Сейчас же по машинам.

— А ты не кричи, не кричи. Тут есть постарше тебя, — осадил капитана бабка Василиса. — Главный командир разрешил. Вон он, поди спроси. — И она показала в сторону головной машины, где стоял командир дивизиона.

Словно не расслышав окрика помпотеха, мы наперегонки молотили ложками остатки картошки. Капитан оценил ситуацию, в сердцах плюнул и пошел в сторону головы колонны.

Смахнув с кончика носа нависшую прозрачную каплю, бабка почему-то засуетилась, завертела по сторонам головой, словно собираясь делать что-то запретное.

— Подержите, я сейчас. — Она передала мне пустой, но еще теплый горшок, а сама озябшей рукой полезла за пазуху, достала оттуда две аккуратно завернутые чистые тряпицы наподобие свернутого носового платка.

— Это тебе, а это тебе. — Она протянула мне и сержанту две эти чистенькие тряпицы.

— Что это, бабуся? — спросил я, держа в руках тряпицу, но она опасливо посмотрела в сторону командиров и замахала рукой.

— Положите в карман гимнастерки, потом посмотрите: видите, командиры уже зашевелились. А то ругаться станут.

— Адрес здесь? — все-таки полюбопытствовал сержант и засунул трипицу в нагрудный карман гимнастерки. То же самое сделал и я.

— Адрес, адрес... смотрите не потеряйте,— скороговоркой проговорила бабка и, поставив горшок на землю, застегнула верхнюю петлю на моей шинели.— Застегнись хорошенько, не то продует, утро-то зябкое. Когда супостатов разобьете до конца, напишите мне письмо, буду молиться за вас. Адрес-то мой, поди, не забудете: улица Пролетарская, дом четырнадцать.

— Напишем, бабушка, не забудем,— торопился сержант и уже с опаской посматривал в сторону головной колонны, откуда каждую секунду может прозвучать последняя команда: «Марш!..»

— Нагнись, я тебя поцелую.— Бабка потянула за ворот шинели сержанта.— Вон какой вымахал дубок.

Вахрушев нагнулся к бабке. Она поцеловала его в щеку. Поцеловала и меня.

— Ну, с богом, дети мои,— сказала бабка, и в этот момент от головной машины понеслась по колонне команда: «Марш!».

Я нырнул под полог чехла, сержант заспешил в кабину. Наша машина стояла по счету шестой от головной, поэтому тронулась не сразу. Приоткрыв полог чехла, мы всем расчетом, как молчаливые сурки, с грустью смотрели на Василису, которая стояла посреди улицы и глядела то на меня, то на кабину машины, в которой сидел сержант. А когда наша машина тронулась, бабка трижды перекрестила нас, помахала рукой и так стояла с пустым горшком в руках, пока колонна не повернула влево и она не скрылась из виду.

Так мы расстались с русской женщиной, в доброте своей — бескорыстной, в материнской любви — строгой, в заботе о людях — скрытной.

В этот же день наш дивизион при особой группе Ставки Верховного Главнокомандования был брошен на прорыв линии обороны немцев, которым удалось прочно закрепиться в городе. После непродолжительной артподготовки, в течение которой мы успели дать три залпа, наши боевые установки, зарядившись, пошли в наступление вместе с танками и пехотой. К полудню город был освобожден от врага, и из потайного резерва начпрода дивизиона капитана Лукуни в обед нам, солдатам и сержантам, выдали по дополнительной — «освободительной», как он любил шутить, порции согревающего.

В этом бою сержанта Вахрушева тяжело ранило. Причем ранило глупо, уже после артподготовки, когда отстрелявшийся дивизион вышел на дорогу, чтобы сосредоточиться где-нибудь в удобном, не просматриваемом с воздуха леске и, зарядившись, ждать новых команд. И приспичило же сержанту переобуваться, когда колонна на

минуто остановилась в ожидании двух отставших боевых машин. Выскочил он из кабины, прикинул на глазок, что пока две показавшиеся из-за поворота машины догонят колонну, он вполне успеет перемотать портянку на правой, раненной год назад ноге, и присел на придорожный пенек. И в тот самый момент, когда он не успел еще стянуть с ноги сапог, справа от него разорвался шальной снаряд, после которого впереди колонны, но уже дальше от дороги разорвался второй снаряд. Осколок угодил сержанту в правую лопатку. Мы, сидя под чехлом, видели, как сержант выгнулся в спине, словно пытаясь потянуться, потом взмахнул руками и повалился навзничь. Будто по команде, мы всем расчетом соскочили с машины, кинулись к сержанту и на руках донесли его до санитарной машины, где уже на ходу ему была сделана перевязка. Он был в полном сознании, когда мы несли его к санитарной машине, идущей в хвосте колонны. На прощание, уже в машине, слабо улыбаясь, он сказал своим солдатам, с кем мечтал дойти до Берлина:

— Вот так-то, братцы, а я загадывал, что мы пальнем по Берлину. Видно, это придется вам сделать без меня. Уж вы тогда хоть на одном снаряде напишите мою фамилию.

Наперебой, торопясь, чтобы не задерживать уже тронувшуюся колонну, мы заверяли своего командира, что еще встретимся, что он в добром здравье вернется в нашу батарею и уж по Берлину-то мы жахнем так, что нас услышат в Сибири.

Митрошенков и тут нашел случай добродушно съязвить:

— А уж на Тамбовщине-то, сержант, от наших берлинских залпов посплывают в окна стекла. Только, чур, в кабине командира будешь ты. Иначе нас в Тамбове не услышат.

На шутку Митрошенкова Вахрушев, пытаясь улыбнуться, тихо ответил:

— Спасибо, Николаша, постараюсь. Ну ступайте, братцы, а то отстанете, повоевали мы на славу. Прощайте!..— Последние слова сержант сказал, когда санитарная машина уже тронулась, и мы на ходу попрыгали из нее и кинулись догонять свою машину. Запыхавшись, мы вскочили под брезент своей установки. Митрошенков, как наводчик и заместитель командира боевой установки, сел в кабину на место сержанта Вахрушева. В середине июня нашей гвардейской минометной бригаде пришлось участвовать в такой артподготовке, какую я не видел за всю войну. В течение двух часов два фронта — 1-й и 2-й Белорусские,— растянувшись на сотни километров, били изо всех стволов, какие только были на их вооружении. В небе над нашими головами черными тучами проносились армады бомбовозов, груженных тысячами, десятками тысяч бомб разных калибров и разных назначений: фугасных, бронебойных, осколочных. И вся эта сила огня и разрушения падала на голову врага. Только после этой артподготовки, когда слева



и справа от нашего дивизиона на многие десятки километров в сторону врага летели снаряды, мины и бомбы, когда от гула, содрогающего воздух и землю, захватывало дух, я понял всю истинную глубину и неотвратимость нашего возмездия.

Да, в том бою все мы, от солдата до маршала, были силой отмщения за тех однополчан, кто сложил свою голову за Отечество, мы несли на своих боевых знаменах солнце Победы и освобождение поработенным народам.

Летнее наступление всех фронтов нашей армии потом, после войны, военные историки и генералы штабов разложат по полочкам стратегических и тактических операций и каждую из них подвергнут анализу, дадут ей оценку, найдут наименование. Мы же, солдаты лета 1944 года, знали в тот день одну стратегию и тактику: только вперед. Силы духа нам, россиянам, вокруг которых сплотились в единую боевую дружину все нации и многоязыкие народы наших необозримых земель и пространств, что простираются от Белого моря до моря Черного, было не занимать. Эту силу духа мы как эстафету высшей нравственности и совести приняли от воинов, что легли на поле Куликовом, что сложили свои буйные головы на знаменитом Бородинском поле, от тех воинов октябрьских боев и гражданской войны, что за первую и вторую пули, пущенные в Ленина, были готовы идти на смерть. И шли на нее... Шли и побеждали.

После успешного прорыва, когда силы обоих фронтов перешли в стремительное наступление, наша гвардейская бригада поддерживала своими залпами наступающие войска. В один из жарких дней июля (в это время мы были уже на земле Западной Украины с ее хуторами и нетронутыми полями) ко мне подошел парторг батареи старшина Ольков и пригласил меня на беседу. Наш дивизион в этот день дислоцировался в лесу. Боевые машины были надежно замаскированы, над нами цвело, сияло голубое украинское небо. Уединившись на крохотной поляне, мы присели, закурили, и потекла неторопливая беседа. Старшина расспрашивал меня о семье, о братьях. Старший мой брат, офицер разведки, уже сложил голову на древней земле новгородской и похоронен в центре города Шимска, на площади перед разбитым вокзалом, на берегу реки Шелонь, что впадает в Ильменьозеро.

Парторгу было лет около тридцати. Было в его лице, в разрезе черных глаз что-то монгольское, восточное, хотя и имя, и фамилия, и отчество — все было славянское. И нам, попавшим на войну в восемнадцать-девятнадцать лет, казалось, что те, кому уже под тридцать, старые люди. Это сейчас, когда подступивший шестой десяток не только посеребрил виски, но и поземкой прошелся по всей редющей шевелюре, о которую в былые годы ломались расчески, видишь, как еще молоды те, кому под тридцать и даже сорок. А тогда нам, наивным, целомудренным, пока еще не успевшим поцеловать

свою тайную любовь, казалось: если мужчина женат, да у него к тому же есть сын или дочь, то это уже дядя почтенного возраста.

Вот таким уже «пожилым» человеком, который брился каждое утро, казался нам парторг батареи. Речь его была степенная, неторопливая, только в черных глазах, где-то в глубине зрачков, нет-нет да и вспыхивали огоньки характера волевого и сильного.

Старшина предложил мне рекомендацию в партию. В первую минуту я даже растерялся. В свои двадцать лет пока еще не думал о вступлении в партию, все считал себя еще слишком молодым, не подготовленным для такого ответственного и серьезного шага. Но парторг несколькими словами погасил мое смущение:

— Ну и что из того, что ты еще не совершил подвига? Я тоже пока еще не совершил, а вот парторг батареи. И вообще, дружище, ты сам знаешь, в каком роде войск воюешь. Врукопашную мы не ходим, в бойницы амбразур нам с тобой, пожалуй, гранату бросать не придется. Но ты видел, как ликует пехота, когда она на рассвете подтягивается мимо наших заряженных «катюш» к передовым окопам, чтобы сразу же после наших залпов броситься во вражеские окопы?

— Конечно, видел,— ответил я и отчетливо вспомнил, как однажды, за полчаса до начала артподготовки, мимо наших боевых машин цепочкой тянулась пехота. Нужно было видеть глаза этих солдат, чтобы понять, какие надежды они возлагают на огонь гвардейских минометов. А один из них, как сейчас помню, махнул рукой в сторону нашей машины и крикнул: «Братцы, только не делайте недолетов, а остальное мы все сработаем».

— Так вот, солдат ты надежный, не трусливого десятка, я к тебе присматриваюсь с осени. Для партии ты уже созрел. Пиши заявление. А моя рекомендация уже готова.— Парторг достал из нагрудного кармана вчетверо сложенный листок, развернул его и протянул мне.— Почитай, что я о тебе пишу.

Я прочитал рекомендацию и почувствовал, как к лицу моему прихлынула кровь. Хорошо обо мне написал парторг. В рекомендации я был лучше, чем я есть на самом деле. Так по крайней мере в эту минуту мне показалось.

— Перехвалили вы меня, товарищ старшина,— как-то робко и смущенно сказал я, но парторг оборвал мой лепет:

— Ну, если кое-что приписал тебе авансом, то, думаю, не подведешь. Нам до Берлина еще топать да топать. А кое-кому, может, и не доведется дать залп по Берлину. Ты помнишь, сколько наших гвардейцев легло на Курской дуге?

— Помню...— тихо ответил я.

— Ну так вот, будешь брать Берлин коммунистом.

Слово «коммунист» словно током пронзило меня. Я даже невольно встал. Такое же чувство я уже испытал однажды: это было осенью сорок первого года, когда принимал военную присягу и давал клятву: если потребуется — за Родину отдать жизнь.

— Ну, чего ты встал? — бросил парторг и посмотрел на меня снизу вверх.

Я хотел найти особые, сильные слова, чтобы выразить чувство, которым наполнило меня напутствие парторга — Берлин брать коммунистом.

— Постараюсь оправдать ваше доверие, товарищ старшина. — Как сейчас помню: я это сказал, стоя по стойке «смирно», голосом, каким солдат торжественно произносит: «Служу Советскому Союзу!» — когда ему вручают боевую награду.

Парторг посмотрел на часы, кованым каблуком вдавил окуроченные папиросы в землю и протянул мне руку. Я помог ему встать. Растирая бедро, он болезненно сморщился.

— Наверное, крупповской стали попался гад... Влетел под Можайском и до сих пор все еще никак не успокоится. Но ничего, после Берлина я извлеку его на белый свет.

В батарея знали, почему слегка прихрамывает наш парторг. Несколько раз военврач бригады настаивал и даже оформлял в штабе направление в госпиталь для удаления осколка в бедре, но старшина отшучивался:

— После Берлина он будет дороже... По принципу армянского коньяка: чем старше, тем крепче и знаменитей.

Старшина пожал мне руку и подмигнул.

— Ты в хорошее время вступаешь в партию. Мы наступаем. Скоро увидим пограничный столб.

— А если он повален? — пошутил я.

— Мы его поднимем и посадим на бетон, — ответил старшина и похлопал меня по плечу. — Комсоргу я сказал. Вечером характеристика будет готова. Заявление принесешь мне сегодня вечером после семи. Я буду в своей палатке. Поможешь Митрошенкову оформить «боевой листок». Завтра рассмотрим твоё заявление на партбюро.

Этот разговор со старшиной был перед обедом, а часу в четвертом хлынул ливень. В те дни наступление нашего фронта временно приостановилось, чтобы подтянулись тылы и сосредоточились силы для нового броска на запад. Солдаты, располагаясь в чистеньком, не оскверненном войной леске, приняли этот долгожданный дождь, как благодатный подарок матушки-природы. Некоторые даже ухитрились, раздевшись догола и намылив тело жидким мылом, принять освежительный дождевой душ. Искупаться было негде, так как ни реки, ни озера, ориентируясь по карте, поблизости не было, а поэтому двадцатиминутный ливень, на радость санитарной службе бригады, сослужил свою добрую освежающую и очистительную службу. Не

повезло лишь повару. Проколготившись у своей походной кухни, где ему нельзя было бросить свои обязанности, он потерял момент и намылился черным жидким мылом тогда, когда дождь уже кончался. Перебегая от дубка к дубку, чтобы хоть потереться об его мокрую листву, со стороны он походил на негра с огромными огненно-рыжими усами. Об этом зрелище еще с неделю ходила в бригаде легенда, которая по законам фольклора с каждым пересказом обростала все новыми и новыми анекдотическими подробностями. Кто-то пустил слух, что повар смывал мыло командирским чаем, а штабной писарь чуть ли не клялся, что он видел своими глазами, как Кузьмич голый катался по густой мокрой траве и нечаянно накопился на муравейник, рядом с которым было осиное гнездо. А Митрошенков переплюнул всех: тот, не улыбнувшись, не моргнув глазом, всем, кого встречал, доверительно, «по секрету сообщал», что взбешенные осы искушали повара в такое место, что он хоть и стер с себя травой мыло, но вот уже второй день ходит крабом. И когда ему, похохатывая, не верили, он бил себя в грудь кулаком и уверял:

— Да ты только посмотри на него!.. Разве он ходит?.. Кто же так ходит?! Ты видел его походку?.. Можно подумать, что к нему подвесили два чайника с кипятком. Так даже клоуны в цирке не ходят.

Этим ливнем воспользовался и я. Намылившись с ног до головы, я добрых минут пятнадцать носился по полюне с растелешенной братвою в молоденьком дубнячке. Чем-то мы в эти минуты напоминали детей, которых долго держали на карантине, а потом выпустили на солнечную поляну: кувыркались, давали босыми ногами друг другу «пендалей» под белые, много лет не выдавшие солнца ягодицы. Хоть и говорят в народе, что нет худа без добра, но бывает и наоборот. За хвост добра иногда цепляется незримо худо. Случилось так на этот раз и у меня — наперекор пословице. Помылся и освежился — это хорошо. А вот по недогляду (не спрятал обмундирование под брезент) насквозь промочил гимнастерку и брюки. А в нагрудном кармане гимнастерки лежали все мои документы: комсомольский билет, красноармейская книжка (а в ней — рекомендация парторга) и чистенькая тряпица, в которую был завернут подарок бабки Василисы — маленькая иконка с ликом Георгия Победоносца.

Эта иконка беспокоила меня с того самого дня, когда мы дали залп по городу. Расставшись с бабкой Василисой, я развернул тряпицу и понял, почему она так воровато и украдкой поглядывала на командиров, когда передавала нам аккуратно завязанные узелки.

Еще тогда был у меня разговор об этих иконках с сержантом Вахрушевым. Когда я выразил свое беспокойство и намекнул, что их не мешало бы выбросить, он посмотрел на меня долго-долго, словно пытаясь донырнуть своими мыслями до самого дна моей души и еще раз взвесить, что я за человек.

— Ты это серьезно? — спросил он, и в самом этом вопросе, в его

тоне, во взгляде я уже прочитал и почувствовал, что он свою иконку никогда не выбросит.

— Да нет... — замылся я. — Я просто решил посоветоваться. Как ты, так и я.

— Я свою не выброшу. Я сохраню ее как память о бабке Василисе.

То же самое сделал и я. Как была она в чистенькой тряпице, так и носил я ее, не разворачивая. А потом даже забыл о ней. А вот сегодня, в день ливневой купели, вспомнил.

Уйдя метров на триста в лес от наших машин, я облюбывал в густом дубняке поляну и догола разделся. Мокрое обмундирование развесил на голых сучьях высохшей рябины, а документы разложил на разлапистых листьях лопуха, который каким-то чудом вырос в лесу. Ливень подмочил комсомольский билет (хорошо, что он заполнен был пять лет назад особыми, не поддающимися воде чернилами), красноармейскую книжку, на рекомендации парторга буквы кое-где расплылись, последние письма из дома тоже тронула сырость.

Тряпицу, в которую был завернут подарок бабки Василисы, также промочило, а сама иконка была чистенькая и лощеная, как игральная карта, только что вытащенная из новой колоды. И я ее положил на листок лопуха в один рядок с документами.

Оставшись наедине с природой, которая после благотворного ливня вся сочно зазеленела и заискрилась звездочками еще не высохших капель на широких листьях дубков, я прилег на траву вниз лицом, раскинул широко руки и, испытывая давно забытые ощущения отрешенности и блаженства, незаметно для себя уснул. Долго ли, мало ли я спал, но, почувствовав на своем плече что-то твердое, проснулся. Первую секунду не мог понять: где я, что со мной?.. Понял только, что я совершенно голый лежу на траве. А когда поднял голову, увидел перед собой разложенные на лопухах документы, письма и иконку с тряпицей рядом и резко повернулся на чей-то кашель, то весь захолонул. Надо мной стоял наш парторг.

Пока он ничего не говорил. Он терпеливо дождался, когда я натяну кальсоны, брюки, еще не совсем высохшую нательную рубашку, обуюсь...

Видя, что руки мои дрожат и что сам я весь не свой (как на грех, иконка с ликом Георгия Победоносца лежала между комсомольским билетом и рекомендацией в партию), парторг спокойно, как будто все идет своим чередом, сказал:

— Чего ты торопишься? Боевой тревоги пока нет. Личный состав батареи отдыхает. Просушись хорошенько. Чего сырые брюки-то напяливать?

Его спокойствие еще больше угнетало меня. Я чувствовал себя так, словно обокрал человека, который впустил меня в дождливую ночь на ночлег, обогрел, приютил, накормил, а утром, прощаясь со мной, вдруг обнаружил, что я забрался к нему в потайной ящичек и вытащил из

него все деньги, все до копейки. Меня поймали с поличным. И на прощание я заслужил не ответного рукопожатия, а пинка в зад и крепкую затрещину. Дальше я одевался медленно, как перед дорогой на казнь.

Неловко опускаясь на землю, оберегая при этом раненое бедро, старшина сел и взглядом показал на место рядом с собой.

— Садись. В ногах правды нет.

Я сел. Старшина закурил. Я уже давно заметил, что курит он много, а потому, наверное, со здоровьем у него, не считая осколка, который он носил в теле с ноября 1941 года, не совсем все в порядке. Это было видно по синеватым мешкам под глазами, особенно заметным по утрам.

— У тебя кто родители по происхождению? — спросил старшина так спокойно, как будто мы уже часа два вели тихую, душевную беседу.

— Крестьяне, — ответил я и, потянувшись, хотел было собрать с логухов разложенные документы и письма, но парторг остановил меня.

— Пусть все хорошенько просохнет. Куда ты торопишься?

С минуту мы оба молчали. Я мучительно ждал главного разговора, а парторг, как нарочно, затягивал с ним.

— Ты крещеный, Ланцов?

Говорить неправду я не мог. Да и зачем?

— Крещеный.

— В прошлый раз, когда мы беседовали с тобой, ты говорил, что у тебя четыре брата и самая младшая — сестренка. А они как, все крещеные?

— И они крещеные. В нашем селе всех моих одногодков и даже тех, кто лет на десять моложе, всех крестили. — Я даже сам почувствовал в своем голосе нотки оправдания.

— Понятно. Я тоже крещеный. И мои два младших брата тоже крещеные. А когда ты маленький был, в церковь ходил? — Прищурившись, парторг смотрел на меня и улыбался. Его взгляд меня обезоруживал. Я мог говорить ему только правду.

— Бабка водила, перед большими праздниками, — безнадежно ответил я, чувствуя, что иконка обрастает такими подробностями моей биографии, которые после двух-трех следующих вопросов старшины загонят меня в такой угол, из которого меня не вытащат никакие мои чистосердечные объяснения.

— Это перед какими такими большими праздниками? — мягко расспрашивал старшина и пускал сизые кольца дыма под широкие листья пушистой дубовой ветки.

— Перед рождеством, перед пасхой, иногда перед троицей, — как на духу отвечал я, глядя в глаза старшине.

Старшина молчал, а мне казалось, что он прикидывал, продолжать

ли дальше медленно казнить меня, или все это закруглить и разорвать на моих глазах свою рекомендацию.

— Ну что ж... Все это мне знакомо. Все так... Перед большими праздниками меня и моих братьев тоже водили в церковь, батюшка сразу всех троих накрывал нас своей сверкающей ризой, задавал с десятков вопросов, на которые мы, уже отрепетированные бабушкой, хором отвечали: «Батюшка, грешен... Батюшка, грешен...»

Старшина взял с лопуха комсомольский билет, посмотрел его.

— В школе вступал?

— В восьмом классе,— ответил я.

Положив на лопух билет, он взял в руки иконку и, вглядываясь в нее, пытался прочитать мелкую славянскую вязь под образом Георгия Победоносца. Потом вздохнул и положил иконку назад.

— Да, победа нам нужна. Очень нужна, Ланцов!.. Мы за эту победу слишком много отдали жизней. И еще много-много жизней отдадим.— Сдвинул у переносицы темные брови и в упор спросил, бросив взгляд на иконку: — Веришь в бога? — В вопросе его прозвучала суровость, которую может удовлетворить только правда. Любая правда, но чтобы она была сущей, неподслащенной, без эквивалентов и уверток.— В бога веруешь, спрашиваю?

Этого главного вопроса я ждал давно и ждал только его, все остальные, заданные раньше, только путали дело и обволакивали меня паутиной, сжимающей мою душу, мой мозг.

— Нет, не верю! — Теперь и я смотрел в упор, твердо, даже дерзко в черные монгольские глаза парторга.— И никогда не верил!

— А это? — Старшина кивнул на иконку.— Давно носишь с собой?

— С Речицы,— ответил я, стараясь быть спокойным, а сам видел, как пальцы мои дрожали.

— Как, с Речицы? — удивился парторг.

— Очень просто — с Речицы, где мы весной стояли на коротком отдыхе.

— А-а,— протянул старшина.— Видел, видел я их в Речице. На центральной улице ими торговали, за пятерку штука.

— Может быть, и за пятерку штука, но я ее не покупал,— ответил я, зная, что следующим вопросом будет: «А как она попала к тебе?» И я не ошибся.

— А как же она легла в твоём левом нагрудном кармане рядом с комсомольским билетом и рекомендацией в партию? — В словах парторга, в тоне проскальзывала язвинка.

— Если желаете — расскажу,— предложил я.

— Очень интересно. Я должен это знать.

В эту минуту я твердо верил, что старшина должен знать историю иконки и того, как она очутилась на лопухе рядом с комсомольским билетом.

И я начал рассказывать. Рассказывал долго, подробно, с некоторыми уточнениями, которые были ответами на вопросы парторга. Мы уже искурили полпачки папирос, а я все рассказывал. Оказывается, в день выступления бригады из Речицы наш парторг стоял с командиром дивизиона у головной машины и отлично видел, как бабка Василиса с горшком горячей картошки под шалью подбежала к майору и попросила разрешения накормить бульбой двух солдатиков, что были у нее три недели на посто. Майор разрешил. А потом все они видели, как старушка остановилась у шестой машины по ходу колонны, откуда выскочили сержант Вахрушев и я, как мы на глазах у всего дивизиона, стоя, обжигаясь тушеной картошкой с салом и дуя на нее, проворно работали своими неразлучными солдатскими ложками. Рассказал я и о том, как бабка извела весь свой лен на лечение фурункулов сержанта Вахрушева. Парторг слушал меня внимательно. А когда я закончил, он вздохнул и спросил:

— А когда, в какой момент старушка подарила вам иконки? Я и на это ответил правду:

— В тот самый момент, когда прозвучала команда «марш!». Она сунула нам вот эти тряпицы, в которые было что-то завернуто, и сказала, что здесь завернут ее адрес. А когда после артподготовки мы отошли дивизионом в лесок, то узнали, что за подарки нам вручила старушка.

— Ну и как Вахрушев? Бросил ее или будет носить с собой? — спросил старшина.

— Он хочет ее сохранить, как память.

— А ты? — полюбопытствовал парторг.

— Что я?

— Будешь носить эту иконку на груди как охранный ладанку?

— Вот об этом как раз я сегодня, когда вы дали мне рекомендацию в партию, хотел с вами посоветоваться.

— Правду говоришь? Хотел посоветоваться? — наступал парторг.

— Да, я хотел посоветоваться, — твердо ответил я.

— Тогда послушай мой совет. — Старшина снова закурил и, глубоко затягиваясь, задумался. — Этот образок оставь у себя. Если ты не веришь в бога, но хочешь сохранить навсегда память о хорошем человеке, с кем тебя столкнула жизнь, — оставь... Хорошо, что ты рассказал мне подробно о старушке. Я ведь и сам, своими глазами видел, как бабка у колонны боевых машин на глазах всего дивизиона кормила вас бульбой. Такое не забывается. Только сделай так, чтобы в батарее об этом сувенире не знали. Не так поймут. Понял меня? — взгляд старшины объяснил мне многое.

— Понял вас. И обещаю вам это, — в душе обрадовался я.

Парторг замолк, и мы несколько минут сидели молча. Наконец я решился спросить о том, чего я больше всего боялся. Кивнув головой на лист лопуха, на котором лежала рекомендация, я сказал:



— А это?..

— Что это? — строго спросил парторг, и в его черных монгольских глазах сверкнула суровость.

— Рекомендация?

— Какое она имеет отношение к тому, что в твоём кармане лежит памятный сувенир войны?

Я бережно свернул вчетверо уже просохший и слегка покоробившийся листок рекомендации и положил в комсомольский билет. Иконку, красноармейскую книжку и письма из дома завернул в чистенькую холщовую тряпицу бабки Василисы. Все это я сделал на глазах парторга, не торопясь.

В этот же вечер, после восьми часов, я зашел к нему в палатку и оставил заявление о приеме в партию, его рекомендацию и характеристику от бюро комсомольской организации дивизиона.

...Вал войны покатился дальше. На подступах к Варшаве погиб командир нашего дивизиона гвардии майор Шпигель. Вражеский снаряд угодил в одну из заряженных боевых машин перед самым залпом в тот момент, когда майор поднял руку, чтобы дать команду «Огонь!». Но мертвые уста уже не произнесли этой команды.

Не всем выпало счастье бить из наших прославленных «катюш» по рейхстагу. Но тем, кто дошел до логова фашизма, тем выпала судьба, поддерживая знаменитую, вошедшую в историю Великой Отечественной 150-ю стрелковую ордена Кутузова II степени Идрицкую дивизию, которой командовал потомок воронежских крестьян генерал Шатилов, давать гвардейские залпы по рейхстагу. Они своими глазами видели полощущееся над рейхстагом Знамя Победы.

Да, все это было... Была война, были трехкратные залпы над могилами погибших боевых товарищей... На моих дорогах войны была и русская женщина бабка Василиса, которая тоже по мере щедрости своего сердца и любви ко всему нашему, исконно родному вложила в великий державный обелиск Победы свою искорку тепла, свою боль, свои силы.

Сейчас бабки Василисы нет в живых: в сорок четвертом ей было уже за семьдесят. Белорусская земля, пропитанная кровью многих войн, политая слезами страданий, опаленная огнем пожаров, не приспособлена для рекордов по долгожительству.

А вот сегодня попавшаяся мне на глаза маленькая бумажная иконка с образом Георгия Победоносца, которую я принес с войны, воскресила в моей памяти светлый образ русской крестьянки. Пусть земля тебе будет пухом, бабушка Василиса. Пусть над могилой твоей свешивает свои зеленые кудри наша славянская береза.

...Ну, а сын... Сын есть сын: моя кровь, мой характер, моя походка, мои родники на теле. Моя боль, моя радость и моя надежда...

...Я поведал ему кратко об иконке, которая лежит у меня в моем письменном столе среди некоторых реликвий войны; в том же самом

столе, правда, в другом ящике,— но там, где я храню партийный билет.

Он выслушал меня внимательно и долго молчал, вроде бы намереваясь что-то спросить, но не решился. Тогда я сам задал ему вопрос:

— Ну вот, сынок, ты пионер. Как бы ты поступил с этой иконкой, если бы ты в том сорок четвертом году оказался на моем месте?

Сын подошел ко мне, обнял меня (о, как дорого это сердечное сыновнее объятие), вначале помолчал, грустно глядя в окно, а потом тихо сказал:

— Я бы поступил так же, как ты, папа.

## МЕТЕЛЬ

...Войска 1-го Белорусского фронта готовились к наступлению. После зимы, за которую передняя линия фронта почти не изменилась, солдаты, ободренные первыми лучами весеннего солнца, с нетерпением ждали приказа наступать. Опостытели топкие Пинские болота, где в землю не вросься: копнешь на штык лопатой, и уже под мерзлой коркой земли сочится вода. Устали мечтать о настоящей жизни. Вспоминались далекие дни «гражданки», когда ложились спать не в сапогах, свернувшись калачиком и прижавшись спиной к груди товарища, а как полагается человеку — по-человечески.

Два с лишним года хлебал я похлебку из солдатской походной кухни, износил не одну пару кирзовых сапог, сменил две шинели, научился бриться, стоя перед осколком зеркала в пяточок, неделями зимой не бывал в тепле, под крышей... Но то, что пришлось пережить в начале марта 1944 года, забыть невозможно. Мальчиком слышал я от деда страшные рассказы о зимних буранах, в которые гибнут сбившиеся с дороги путники и падает скот. Из книжек имел представление о бедах в ночную пургу. И вот самому пришлось испытать капризы стихии.

Метель бушевала три дня и три ночи. В первый день некоторые шоферы-ловкачи еще ухитрились тараном пробиваться через наметенные на дорогах высокие, в человеческий рост, сугробы, но к вечеру машины стали, окутанные со всех сторон снежными заносами, над которыми туго натянутой невидимой струной звенел белый ледяной песок. Вьюга подвывала на разные голоса: то приглушенно гнусавила, то тоненько взвизгивала.

Зима, уходя, изо всех сил старалась унести с собой не одну солдатскую душу. Если бы знать заранее, что метель продлится трое суток подряд, то пехоту по приказу высшего командования можно

было бы отвести в лес. Но показания метеослужбы были неточны и к тому же мало принимались в расчет войной. А если даже и была бы получена метеосводка о том, что буря будет продолжаться несколько дней, то и в этом случае вряд ли кто из командиров мог взять на себя смелость отдать приказ отвести солдат в более безопасное место. Война есть война.

К вечеру провиант дивизиона кончился. Повар и старшина батареи вытряхнули из мешков в котел последние крошки сухарей с пылью, крепко подсолили бурду и, набив топку походной кухни дровами вперемешку с порохом из выпотрошенной мины, стали готовить ужин.

Над лесом, пригибая вершины сосен, ни на минуту не умолкая, гудела метель. Поднимаемая столбы снега, она секла горячими искрами солдатские лица, ледяными щупальцами лезла под бараньи воротники полшубков, слепила глаза...

И все-таки нам, гвардейцам-минометчикам, было легче, чем пехоте. Мы стояли в лесу, они лежали в чистом поле, на болотах; мы были одеты в полушубки и обуты в валенки, они — в шинели и сапоги; у нас — машины (можно всегда забраться в кабину, забиться под чехол «катушки»), они — под открытым взбунтовавшимся небом.

Вечером, получив по порции горячей пересоленной бурды и по кусочку сахара, мы согрели отощавшие животы и стали жаться друг к другу, готовясь с горем пополам скоротать ночь. Зачехленные боевые установки заносило снегом. Их приходилось отрывать через каждые полчаса. И это, пожалуй, было единственное занятие, которым грелись солдаты расчетов. Чтобы не замерзли залитые водой радиаторы, водители боевых машин каждые десять минут прогревали моторы, сидя в кабинах и грея коченеющие ноги.

Офицеры, начиная от командира дивизиона и кончая командирами взводов, делили с солдатами всю тяжесть положения: ели из одного котла, спали под теми же чехлами, прямо на снегу, прижавшись друг к другу. Но ночью командирам приходилось трудней, чем солдатам. Нужно было думать не только о себе, но и следить за солдатами, чтоб они не уснули последним сном.

Первая ночь показалась годом. Периной нам служили сосновые ветки, одеялом — промерзший полог с установки. Лежа на правом боку, уже онемевшем от холода, я спиной чувствовал тепло своего друга Саши Загороднюка, который был на целую голову выше меня и шире в плечах. Впереди, спиной ко мне, лежал командир взвода лейтенант Гунько. Он был крайним — самое невыгодное положение.

То и дело просыпаясь, я чувствовал, что лейтенант не спит. Его плечи время от времени зябко вздрагивали, и он все плотнее жался ко мне спиной, но изменить положение не решался: не хотел тревожить мой сон. Нас было семь человек под брезентовым чехлом, который заметно отяжелел под слоем наметенного снега. Крайним за нами был командир расчета, кадровый старшина Гудков, самый маленький и самый неутомимый человек в дивизионе.

Когда одеревеневшие от холода бока начинали неметь, раздавался глухой, как из могилы, очень отдаленный (хотя старшина был от меня всего в двух метрах, через четыре человека) голос Гудкова:

— Переворот! Делай!.. — Эти слова он произносил так, как на учениях подает команду: «Коли!» или «Шагом арш!».

Неловко барахтаясь, стараясь сохранить скопившееся под брезентом тепло и поджимая под себя мерзлые, как сырые березовые поленья, валенки, мы переворачивались.

Кто-то впереди закурил. Терпкий дымок бийской махорки острым теплом поплыл под брезентом. Наконец самокрутка дошла до меня. Я сделал три глубоких дурманных затяжки и передал «бычок» лейтенанту. Тот осторожно, на ощупь, взял его из моих рук и сосал до тех пор, пока не стало жечь пальцы. Я сосчитал на слух: он сделал пять затяжек. «Последнему всегда больше достается», — подумал я и, прижимаясь плотнее к длинной спине сержанта Загороднюка, пытался погасить в себе прошибавшую меня дрожь.

Часа через два такого сна, когда окоченевшие ноги стали деревенеть, лейтенант поднял солдат на разминку. И вот тут-то я впервые в жизни увидел, как замерзают люди. Валясь под ударами порывов взъяренного ветра, мы принялись отрывать машину, занесенную до броневого щита. Водитель, скорчившись и подобрал под себя ноги, дремал, склонившись головой на баранку. Рядом с ним, прижавшись к его плечу, как послушная дочка к отцу, сидела медсестра Вера Курушина.

Когда стали отрывать правую сторону машины, то Загороднюк, несколько раз наткнувшись лопатой на что-то мягкое, неожиданно дико вскрикнул:

— Ребята! Да ведь это Серегин!.. Замерз.

Снег, набившийся за шиворот скрючившегося часового, уже не таял. Лейтенант осветил фонариком лицо солдата: оно было серовато-бледное, из правой ноздри торчала ледяная сосулька. Часовым был только что прибывший из запасного полка молоденький, совсем еще мальчишка, солдат Серегин. Как сел он два часа назад на крыло машины, обняв автомат, так и заснул последним сном. Кто-то пытался оттирать его, но бесполезно: медсестра сказала, что он мертв.

Это был первый покойник в эту вьюжную ночь.

Каждому в расчете приходилось видеть собственными глазами, как умирают люди от тяжелых ран, но этот случай навалился на плечи солдат, как изнурительная холодная ноша, которая час от часу тяжелела и тяжелела.

Каждый боялся уснуть. Коченеющими пальцами старшина высыпал содержимое карманов своего полшубка в ладони лейтенанта. Самокрутка, наполовину с солью и хлебными сухими крошками, чадила зеленовато-желтым дымком и трещала... Но все-таки пошла по кругу. Пока курили, никто не заметил, как

Загороднюк успел развязать завязки брезентового чехла на боевой машине и вытащить гитару. Она всегда была с ним.

На всю бригаду сержант Загороднюк слыл первым стрелком и лучшим гитаристом. Еще под Речицей я сам убедился в этом, поспорив с ним, что с двадцати шагов он не попадет из своего автомата в торец перочинного ножа, воткнутого в дерево. Я был уверен, что выиграю спор, а поэтому дал ему на это три попытки. Отмерили двадцать шагов. Загороднюк, улыбаясь (он улыбался даже тогда, когда целился), выстрелил. Первая пуля прошла миллиметра на два выше цели. Вторым выстрелом он расщепил мой ножик, в котором было около десятка приспособлений! Лезвия, вилка, шило, буравчик, подпилочек... Чего там только не было, в этом трофейном складне, за который я отдал повару из второго дивизиона наручные часы швейцарской марки!

Как гитариста Загороднюка я по-настоящему узнал в эту страшную ночь. Уж как он ухитрился коченеющими пальцами зажимать на грифе струны — мне до сих пор непонятно. Только когда он взял в руки гитару, в которую как плетью хлестнул секущий снежным песком ветер, струны будто ожили, и мне показалось, что метель стала тише.

Нет на свете краше нашей Любы,  
Черны косы обвивают стан,  
Как кораллы, розовые губы,  
А в очах — бездонный океан...

Легковесная эстрадная песенка. Но каким теплом полыхнула она по истосковавшимся солдатским душам!

А Загороднюк все пел и пел. Ударяя полусогнутыми пальцами правой руки по струнам, он словно бросал вызов остервеневшей от злобы буре.

На песню, метавшуюся между ревущими соснами, стали стекаться солдаты из других взводов. Через полчаса у нашего расчета собралась вся батарея. У машин оставались одни водители да часовые. А Загороднюка просили петь еще и еще. И он пел. Командир батареи из неприкосновенного запаса медсестры приказал выдать гитаристу сто граммов водки.

...Так прошла первая ночь. А когда сквозь метельное крошево стало просвечивать утро, по радию был принят приказ: дивизиону готовиться к залпу. К вечеру все работы должны быть закончены.

Этот приказ озадачил не только солдат, но и офицеров. Чем заряжать установки, когда больше половины мин не подвезено? Часть их застряла в дороге, часть находилась на запасной позиции, в четырех километрах от опушки, где должен быть фронт батареи. Как доставить мины? Чем накормить валившихся с ног солдат?

Но приказ есть приказ. Ни о каком транспорте не могло быть и речи. Мины нужно было таскать на себе. А в каждой — девяносто шесть килограммов, с ящиком — больше центнера. Для измученных, проголодавшихся людей этот груз был непосилен. И все-таки командир дивизиона приказал: на двух человек приходится по одной мине. Командирам батарей был отдан приказ: разбить личный состав орудийных расчетов попарно и до вечера каждой паре сделать по два рейса.

И мы пошли. Пошли цепочкой, настречу звенящей, как коса под ударами точильного бруска, метели. Когда вязли в заносах — пробивались лопатами. С опаской оглядываясь назад, выходили на свистящий пустырь, на котором хрупкая ледяная корка, прокаленная морозом и облизанная до блеска ветром, каждую минуту грозила подломиться и проглотить в снежной пасти любого идущего. Шли развернутым строем, шагах в двух друг от друга. Когда кто-нибудь падал, ему бросали веревку и выволакивали на ледяную корку снега.

С Загороднюком мы были в одной паре. Он шел согнувшись, как обычно ходят спортсмены-лыжники, толчками. Я видел, как дрожали его колени, когда он, повернувшись спиной к ветру, останавливался, чтобы немного передохнуть. В это время останавливался и я. Иногда мы перекликались. Несколько раз, не в силах перекричать ревущую метель, я пытался подойти к нему поближе, но он вовремя успевал остановить меня:

— Не подходи!..

Так за три часа мы прошли четыре километра, разделявшие будущий фронт батарей и запасные позиции, где под вековыми соснами, в штабелях, накрытых брезентом и занесенных снегом, лежали снаряды гвардейских минометов. Каждый из нас знал: все, что было позади, — это цветочки; ягодки были впереди. Сюда мы шли порожняком, обратный путь пугал.

Мой друг и напарник Саша Загороднюк затянул ремень на полушубке так, что, казалось, переломится пополам. Я тоже с утра передвинул пряжку ремня на последнюю дырку. Глаза у солдат ввалились от бессонницы и голода. Самому молоденькому из батареи, солдату Мищенко, можно было свободно дать все тридцать лет, хотя ему совсем недавно исполнилось восемнадцать. Даже улыбка, или, скорее, подобие улыбки, которая безжизненно застывала на его лице, и та казалась старческой.

Первым подошел к штабелям снарядов комиссар дивизиона майор Гаврилов со своим ординарцем Лукой Федотовым, здоровенным, саженого роста вислоплечим парнем, который мог один вытащить застрявший в грязи комиссаровский «виллис». За два последних дня Луку так скрутило, что он не походил на себя. Раньше ходили слухи, что Лука много ест. Но это никого не удивляло: крупнее его во всем дивизионе не было человека. К штабелям снарядов он подошел нерешительно. Его подбадривал Гаврилов.

— А ну, Микула Селянинович, тряхни стариной! Покажи-ка нам свою удаль молодецкую!.. — пробовал майор шуткой поднять дух у притихшего ординарца, но Лука даже не улыбнулся в ответ. Мрачным и отупевшим взглядом он окинул ребристые, заметенные снегом ящики со снарядами и молча сел прямо в снег.

— Лука, что с тобой? — склонился Гаврилов над ординарцем.

— Обождите... немножечко, товарищ майор... Я сейчас, что-то голова закружилась, — тихо ответил Лука и слизнул языком снег с рукава. — Жарко что-то...

Встал Лука, когда уже каждая пара взяла из штабеля по mine. Солдаты начали поговаривать, чтоб комиссар не брал ноши, но майор пресек этот ропот резким и властным окриком:

— Разговоры прекратить!.. Пятиминутный отдых, и в путь!..

Хорошо, что нашелся среди нас пожилой солдат Евдокушин, сибиряк-лесоруб, всю жизнь проведенный в тайге. Видя, что мы берем за ноши, которые нас уложат в пути, он подошел к майору и, склонившись над самым его ухом, что-то долго кричал, размахивая руками.

И тогда, собрав всех нас в круг, майор приказал топорами и лопатами рубить молодые березки и делать из них волокуши. Срубив три кустистые березки, сибиряк связал их и, как на большой веник, положил на них ящик со снарядам.

Все принялись рубить березки и делать такие же волокуши. На это ушло больше часа. Когда двинулись в обратный путь, было уже двенадцать часов дня. Метель не утихала. Шли цепочкой-уступом, останавливаясь и отдыхая через каждые десять минут. Первым шел Евдокушин со своим напарником Федькиным, молодым веснушчатым солдатом с вятским говорком, над которым любил подтрунить пожилой лесоруб.

— Ваня, ты помнишь наказ своего деда? — стараясь перекричать метель, спрашивал Евдокушин у Федькина, когда они останавливались, чтобы перевести дух.

— Что?

— Наказ деда, спрашиваю, помнишь?

— Какой наказ?..

— А как же... «Ешь — потешь, работашь — холодашь, а ковда идешь, то чуть-чуть в сон бросат...» — на каждом слове Евдокушин повятски окал.

— Ведмедь ты сибирский, больше ты никто! И борода у тебя... как у ведмедя... — бранился Федькин и надевал на плечо веревочную лямку, привязанную к волокуше.

На середине пути кое-кто стал проваливаться. Это задерживало продвижение: чтобы высвободить человека из снежного колодца, нужны были время и силы.

Последний километр показался самым тяжким. Приходилось буровить свеженанесенные сугробы. Отдыхали все чаще и чаще, почти

через каждые сто — сто пятьдесят метров. Когда уже были на подходе к фронту батареи и до опушки леса оставалось не больше трехсот метров, солдат из взвода лейтенанта Голикова — всегда бессмысленно улыбающийся Мищенко — отказался идти дальше.

Комиссар Гаврилов, который тащил с Лукой свою волокушу, успевал и распоряжаться и помогал вытаскивать провалившихся. Казалось, он действовал на одних до предела взвинченных нервах. Его и без того звонкий голос, пытаясь перекричать нахлесты метели, звучал на предельных нотах.

Бросив свой снаряд и отметив его воткнутой в снег лопатой, Гаврилов приказал Луке Федотову вести под руку слабеющего Мищенко, а сам впрягся в лямку вместо него.

Я двинулся механически, как во сне. Ноги дрожали мелкой дрожью, на теле выступала испарина, голова кружилась.

Моя лямка стала ослабевать. Я выбивался из сил. Чувствуя, что временами волокушу тянет один Загороднюк, я просил его отдохнуть. Мы остановились и оба молча набирались сил.

Первым рейсом мы приволокли тридцать четыре снаряда, один снаряд остался в пути. До полного боекомплекта дивизиона не хватало нескольких снарядов. Их нужно было доставить. Но кто должен идти за ними? Кто?..

На остатки сахара и на три пачки «Беломорканала» повар, которого все в дивизионе звали не по фамилии, а по кличке «Кострома», выменял у соседей-артиллеристов две задние мороженые лодыжки убитой лошади, наварил котел конского бульона и разделил мясо на ровные кусочки. Солдаты сразу немного ожили. Хоть без хлеба, но горячее. Самым слабым по приказу командира дивизиона были отпущены двойные порции.

После полного котелка горячего соленого отвара даже на лице солдата Мищенко сразу же погасла старческая улыбка.

Было приказано: за остальными снарядами пойдут с таким расчетом, чтобы на каждый снаряд приходилось по три человека. Двое в лямках, один отдыхает.

Перед тем как отправиться во второй рейс, меня вызвал к себе командир дивизиона подполковник Подгорный. Его штаб находился в кабине боевой машины. Мне было приказано вооружиться топографической картой, компасом и идти в деревню, где стоял продовольственный склад.

До сих пор не могу понять, почему тогда выбор пал на меня. Наверное, перед тем как послать гонца в деревню, подполковник разговаривал с моим командиром батареи.

— Вы грамотный человек и хорошо владеете картой и компасом. До деревни всего восемь километров. Дойдете — спасете дивизион, не дойдете... — Что будет, командир не сказал. — Ясно?

Я ответил что-то невразумительное, пока еще не понимая до конца своей задачи.



— Как только доберетесь до деревни, разыщите старшину Рабичева и передайте ему: если к завтрашнему утру не доставит продукты — отдам под суд военного трибунала... Понятно? — Лицо командира дивизиона было строгим, будто свой приказ он отдавал не мне, а старшине Рабичеву.

— Понял, товарищ подполковник!..

— Хоть на себе!.. Хоть на горбу!.. Хоть ползком, на животе! Но пусть обеспечит дивизион! Пусть мобилизует местных жителей! Пусть наймет подводы, но чтоб к утру дивизион был накормлен! Да скажите ему, чтоб водки захватил на неделю вперед и за прошедшие дни. Если забудет махорку — отдам в штрафную роту. Так и передайте. Слышите?!

— Есть, товарищ подполковник!..

Из остатков командирского пайка мне выдали две щепотки махорки и коробок спичек.

Получив от командира батареи карту и компас, я отправился в серую, свистящую мглу. В восьми километрах от меня лежала полусожженная белорусская деревня Стукачи. Ее мы проезжали дня три назад, когда на дороге, пригретой весенним солнцем, уже пестрел оттаявший конский помет, а с карнизов уцелевших хат свисали желтоватые, с рубчатыми наплывами остроконечные сосульки, с которых размеренно четко срывались тяжелые капли, упорно пробивающие в снегу глубокие, до самой земли, скважинки.

Тайком от командира я поделился махоркой с Загороднюком и отправился в дорогу. На прощание он сказал: не садиться и не засыпать.

— Будет кружиться в голове — ешь снег, потянет в сон — три снегом лицо и иди... Самое главное: иди, не останавливайся!

Я пошел. Через полчаса пути оглянулся. Леса не было видно в звенящих кружевах метели. Кое-где дорога была не занесенной. Выходя на укатанный и утрамбованный большак, который местами выныривал из сугробных заносов, испытывал радостный трепет. «Дойду!.. Дойду!.. Не сбился! Километр уже прошел!..» Потом стали попадаться высокие снежные холмы. Это были занесенные машины. Первая трехтонка, попавшаяся на пути, была пуста. Шофера в ней не было. Вторая машина была занесена так, что над кабиной зияла глубокая, формы морской раковины, воронка, которую мог выточить только вихревой ветер. Провалившись по пояс в снег, я стукнулся коленками о капот мотора, над которым козырьком висело снежное завихрение. То, что увидел в следующую секунду, морозом прошло и без того иззябнувшую и ноющую от усталости спину. Этот сугроб стал мавзолеем для водителя. В кабине машины, сжавшись калачиком и втянув голову в плечи, скрюченно сидел шофер. Одет он был в ватник. На его шапке, с подпалинкой на козырьке («Наверное, грелся у костра — и отскочил уголек», — подумал я), была прикреплена

красная звездочка с потрескавшейся эмалью на одном лучике. Склонив голову к левому стеклу, солдат спокойно лежал на снежной подушке, прильнув к ней остывшей щекой. Сам он до пояса был погружен в снег, наметенный в кабину через дверные щели и отверстие в разбитом стекле лобового щита. Наверное, он был моим ровесником. Казалось, где-то видел его лицо, но где — никак не могу припомнить. Ясно только одно — парень из нашей дивизии. «Готов», — подумал я и с трудом выбрался из снеговой воронки.

Дальше шел как во сне. Кружится голова, ноет спина, ноги как чугуны, подламываются... В глазах, в центре огненных расплывающихся кругов, неотступно стоит образ замерзшего шофера.

Пройдя с километр, встретил еще снеговой курган. Обошел его стороной, чтоб не увидеть вновь ужаса, который мог надломить мои последние силы. Хотелось сесть, вытянуть ноги, прилечь, уснуть... Как хорошо спалось бы под метельную сказку! А в голове стучало: «Не вздумай садиться! Иди, иди!» — звенело последнее напутствие друга. И я шел. В ушах стоял отдаленный колокольный звон. И песенка... Все та же песенка, которую вчера ночью пел сержант Загороднюк, доносилась до слуха то как умирающее вдали эхо, то звенела, как тонкая струна гитары:

Нет на свете краше нашей Любы,  
Черны косы обвивают стан...

Какая Люба?! У меня никогда не было никакой Любы... Я и полюбить-то еще не успел... А песенка жила, не умирала:

Как кораллы, розовые губы,  
А в очах — бездонный океан...

Сколько еще осталось идти — не знаю, начал терять ориентацию. Но вот наконец справа темным островком из-за ревущей снежной завесы показалось смутное пятно. Это был лес. В этом месте он должен близко подходить к дороге. Значит, до деревни осталось не больше трех километров. Пять уже позади.

Временами наступают минуты тупого, бессмысленного безразличия. Кажется, что голова отделяется от тела и думает сама по себе, о своем... Ноги, подкашиваясь, снова и снова механически поднимают перетянутое ремнем дрожащее тело и толчками двигают его вперед. А в уме, как патефонная пластинка с испорченной бороздкой, вертится одна и та же мысль: «Дойти!.. Дойти!.. Садиться нельзя, нельзя!..» И снова: «Садиться нельзя!..» Леденеют колени. Поворачиваюсь спиной к ветру, изо всех сил тру их рукавицами, припадаю к ним горячим ртом и дышу, дышу изо всех сил, иступленно, до головокружения... Потом снова иду. Осталось два с половиной километра. О как они бесконечно длинны!.. Еще через полчаса лесной

мысок скрылся из виду. Я запомнил его по карте. От него до деревни должно быть полтора километра.

Последний километр пути ползу по сугробам. Тычась лицом в снег, поднимаюсь на четвереньки, с трудом встаю, но, сделав несколько шагов, тут же проваливаюсь в глубокий снег, снова падаю на руки и снова ползу... Ползу на коленях и почти до умопомешательства твержу вслух одну и ту же фразу: «Только не ложиться!.. Только не ложиться!..»

Но сил уже больше нет. Лежу. «Все... Все...» Стало как-то хорошо-хорошо. Легко, тепло... Кажется, что лежу в невесомой воздушной перине, которая, подобно облаку, плывет в солнечных лучах... И кругом музыка... Мне не приходится слышать такой музыки... И сад! Весь затопленный белопенным цветением вишневый сад. Я никогда не видел подобной красоты в своей Сибири, там не цветут так буйно сады.

И музыка, снова музыка... Она такая нежная и такая немножко грустная, что временами мне кажется, будто бы она исторгается из моей груди и плывет над садом.

Но что это такое? Почему вдруг так сразу и так неожиданно все оборвалось? Исчезло видение цветущего сада, смолкла музыка... Что это такое? Что за звук? В какие-то доли секунды меркнувший разум снова вспыхнул последними искрами жизни. Страшная мысль черной молнией пронеслась в голове: «Замерзаю!..»

И снова тот же звук. Что это — слуховая галлюцинация или явь? Тонкий, залихватый зов жеребенка. Он звучит как до предела натянутая струна. Он кажется мне спасительной веревкой, брошенной в глубокий колодец утопающему.

Собираю последние силы, с трудом поднимаюсь на колени, оглядываюсь... «Жив еще... Жив...» Кругом метельные всхлипы. Ломаю сугроб руками и ползу... Снова ползу... Темнеет. С темнотой надвигается ужас. Стоит чуть-чуть ошибиться, взять немного в сторону — и проползу мимо деревни. И снова лошадиное ржание. На этот раз более низкое и, кажется, где-то совсем рядом. Задыхаясь, ползу на это ржание. Напрягаю до предела зрение, стараюсь разглядеть хоть какие-нибудь смутные силуэты жилья, но, кроме свистящей снеговой крупы, которая слепит глаза и жжет щеки, ничего не вижу.

Сил больше нет. Ткнулся лицом в снег и чувствую, что плачу... Плачу, как маленький, от бессилия и обиды. Напрягаю мускулы рук, но они не слушаются, пытаюсь перенести тяжесть тела на ноги — ноги кажутся чужими. И тут вдруг откуда ни возьмись в памяти всплыл образ матери. Она представилась мне такой, какой я видел ее каждый день по утрам: примостившись на маленьком стульчике, она доит корову. Из тугих сосков набухшего вымени голубовато-белыми струйками звенит в ведро молоко. Звенит так, как будто кто за спиной точит косу: жик-жик... жик-жик... Но что это?

Как укол иглой, как вспышка молнии в глухой, притихшей грозовой ночи: «Садиться нельзя!.. Ты уже замерзаешь!.. Вставай!.. Иди!..» Схватив ртом сухой снег, поднимаю голову. Она тяжелая, как ведерный чугун. Трясу ею, стараюсь понять, где я, что со мной. Вижу: почти у самого изголовья намело маленький, словно из белой муки, просеянный через сито, холмик снега. Последний рывок. Последнее усилие, и снова на коленях. На губах соленые слезы. Карабкаюсь в сугробе и не могу понять: где? Где оно, это конское ржание?.. Уж не сожгу ли с ума?

Совсем темно. Ночь могильным непроницаемым шатром опустилась над ревущей степью. «Все!.. Амба!.. Смерть!..» Немой страх сковал все тело. Я сел в снег. Но что это опять за звуки? И снова в мыслях вспыхивают последние искры борьбы за жизнь. Поднимаюсь на колени... Потом медленно, с трудом встаю в полный рост, стою и дрожу. Слышу человеческие голоса. Человеческие голоса!.. «Мама! Неужели ты не получишь похоронную?..»

Приглушенные всхлипы вьюги, и сквозь нее человеческие голоса. Они раздаются откуда-то слева. Они совсем близко... Но стоять не могу, падаю на колени и ползу по направлению звуков. Пробую кричать, но сил нет. Как ребенок, захлебываюсь на ветру. И снова чувствую, что плачу. Но вот что-то металлически звякнуло и заскрипело. Скрип походит на визг ржавых петель на деревянных воротах. Откуда-то из снега под руку подвернулся кол. Один кол, второй кол... Через полметра третий... Смутным сознанием догадываюсь: изгородь. «Мама, милая, я знаю, ты сейчас думаешь обо мне...» Перебираю руками колья изгороди. Ползу туда, откуда только что донеслись звуки. Ползу... Это легко сказать. Глазами ищу перед собой признаки жилья. И вдруг... О боже!.. Откуда-то повеяло дымком. Так пахнет горелая печеная картошка и горьковатая смолка сосновых дров. «Жилье!.. Люди!..» — проносится в голове мысль.

— Врешь, не возьмешь! — захлебываясь слезами, неистово кричу в снежную круговерть и, собрав последние остатки сил, кричу еще сильнее: — Люди! Люди!..

Но крик потонул в набатном гуле осатаневшей стихии. Его никто не услышал...

Как дополз до окна, откуда мерцал желтый огонек, уже не помню. Очнулся только тогда, когда почувствовал, что я без шапки, без полушубка, с меня снимают валенки. Оказывается, я разбил стекло в оконной раме. Не сделай этого — замерз бы во дворе. Упал и не смог доползти до двери дома.

Глоток водки пробежал по телу живительным ознобом. Приказ командира дивизии передаю дословно. Рыжий, толстогубый, с пушистыми длинными ресницами старшина Рабичев выслушал меня с затаенным страхом.

У огненного жерла русской печки возилась с чугунами высокая костистая старуха. Она так ловко и быстро выкатила на катке огромный чугун, что я невольно подумал: «Как моя бабка, такая же ловкая и сильная».

— А разве позавчера машина с продуктами не приходила? — спросил старшина Рабичев, и я увидел, как в его бесцветных глазах заметался испуг.

— Никакой машины не приходило.

Красное лицо старшины в эту минуту мне было неприятно.

— Люди трое суток сидят без крошки хлеба... А вы тут!.. — Я уронил взгляд на стол, на котором стояла открытая банка тушенки, лежал толстый кусок шпика и краюха хлеба. — Жрете в три горла. А там люди гибнут!..

Я встал и подошел к столу. Хлеб и сало завораживали. Я не в силах был отвести от них взгляда. Но, тут же вспомнив замерзшего у боевой машины часового и мертвого шофера в кабине, не донес до рта кусок хлеба. Еще раз передал приказание командира дивизиона:

— Своими руками расстреляет, если утром не доставите в дивизион продукты!.. А если комдив уже замерз, то его приказ... — Больше я не мог ничего сказать, чувствуя, как клацают мои зубы.

Молодая грудастая девушка с румяными щеками, месившая в квашне тесто, разогнула спину и подняла на меня круглые, диковато-испуганные глаза и, чуть приоткрыв рот, замерла на месте. На русской печке, свесив босые худые ноги в коротких задравшихся холщовых подштанниках, сидел бородатый старик хозяин. Негнуцимся пальцами он ощупывал толстый рубец на нижней рубахе и о чем-то хмуро думал. Потом, кряхтя, неторопливо слез с печки и принялся наматывать на ноги закоржавевшие портянки, которые он вытащил из печурки.

Два солдата из хозяйственного взвода, которых только что разбудили, тупо моргая, спросонья терли глаза кулаком и чесались. Они, как видно, спали не раздеваясь, только сняв валенки и полушубки.

Я попросил у старшины свою трехдневную норму еды и водки. Старшина вышел куда-то из избы и через несколько минут вернулся, неся в полах полушубка банку тушенки, булку хлеба, сахар, осьмушку табаку и бутылку водки, завернутую в грязноватую тряпицу.

Жадно даваясь хлебом и тушенкой, я стал рассказывать старшине, как лучше всего добираться до дивизиона. Потом передал ему карту и компас. Солдаты уже оделись и, молча поглядывая то на меня, то на стол, на котором стояли еда и водка, курили.

Пока я показывал старшине на карте местоположение дивизиона и объяснял, как добраться ему до опушки леса, старик неторопливо натянул на плечи дубленый с заплатами полушубок и вышел из избы. Орудовавшая у печки старуха поняла, что приход мой внес в их

дом тревогу, а поэтому косо посматривала в мою сторону. Старик вскоре вернулся. Переступив порог, он крикнул, снял шапку, ударил ею о колено и сел на широкую лавку, облокотившись о сосновый стол, на котором от длительного скобления шишками выступали сучки.

— Кажись, утихает. Переломилась.— Хозяин гулко высморкался, достал с полки две черепичные чашки и поставил их на стол. Подняв глаза в угол, где под потолком висела закопченная икона, он перекрестил рот и проговорил: — Мне-то совсем чуток, а парню можно цельную, чтоб кровь разогнало. Водка, она любую простуду борет.— И, по-хозяйски глядя на старшину, добавил: — Не робей, парень, к болотному урочищу я слепма доведу. Правда, на дворе ни зги не видать, придется помаяться, но что ж поделаешь, нужно итить, там народ мрет. Пустим вперед пару лошадей, дорогу проламывать. Сам поведу их, а по готовому следу можно итить и с мешками...

Старшина налил мне черепичную чашку доверху. В нее входило не меньше четвертинки. Остальную водку он вылил хозяину. Тот неторопливо достал откуда-то из-под лавки луковицу, разломил ее пополам, окунул в солонку и, понюхав ржаной хлеб, расправил ребром ладони усы.

— Будем здоровы. За твою голову, старшина.— Водку старик выпил тремя крупными глотками. Выпил и покачал головой: — Пташкой взвилась, матушка.— И, посмотрев на меня, подмигнул и покачал головой: — Чего косуришься? Опрокидывай и лезь на печь. Хорошенько кости прогрей, а то, как доживешь до моих лет, отрыгнутся тебе эти три денька.

Долго, кажется, целую вечность, я цедил сквозь зубы водку. Но осилил все-таки до дна. Когда делал последние глотки, то чувствовал, как по всему телу расплывается горячая хмельная волна. Много есть не дали — боялись, что с голодухи объемся. Захмелел быстро. Ни на что не обращал внимания, жадно жевал хлеб с тушенкой. Смутно замечал, как старшина и солдаты проворно трясли в руках какие-то пустые мешки, о чем-то переговаривались со стариком, потом все ушли...

Проспал я почти сутки. К вечеру второго дня разбудила хозяйка. Подергав меня за ногу, она простуженным голосом проговорила:

— Эй, Аника-воин, вставай!.. Проспишь все царство небесное.

Как только старуха умолкала и переставала трясти меня за ногу, я чувствовал, что снова лечу в какую-то пуховую уютную и теплую пропасть, где меня кружат, кружат, кружат... А через несколько минут, за которые мне успел присниться сон, старуха снова, на этот раз сильнее, тащила меня за ногу и с напускной сердитостью приговаривала.

— А ну, разлюбезный, вставай! Тоже мне: мы вячкие, ребята хвачкие...

Последние слова как-то сразу прогнали сонную одурь. Я проснулся окончательно. Голова была тяжелая, во рту ощущался противный водочный перегар. Правый бок и бедро саднили — обжег о голые кирпичи печки, в которой утром пекли хлеб. Свесил ноги с печки и никак не могу понять: что сейчас на дворе — утро или день. Сколько спал — не могу сообразить. Темные стрелки настенных ходиков, на длинной цепочке которых к зеленой еловой шишке был подвешен ржавый замок, показывали пять часов. Только теперь понял, что проспал почти сутки.

С похмелья побаливала голова. Встал, обулся, вышел во двор. На улице стояла такая тишина, что первую минуту усомнился: не сон ли это продолжается. Котившееся за селом солнце обливало снежную равнину мягким багрянцем. Изба, где располагался старшина с двумя солдатами, была крайняя в деревне. За огородами шла равнина. А там, в восьми километрах, на опушке леса остались свои. Как они там? Живы ли?

Забравшись на сеновал, я из-под ладони стал всматриваться в сторону, откуда приполз вчера вечером. Черным, копошащимся пунктиром обозначалась дорога, на которой здесь и там солдаты отрывали из-под снега занесенные машины. В одной из этих машин, наверное, нашли свой последний приют начпрод дивизиона старший лейтенант Ветошкин, шофер Малеев и солдат Бахрушев. Ветошкин слыл в дивизионе бесстрашным офицером и готов был пойти на все, спасая оставшийся без продовольствия дивизион. Машину он не мог бросить. Люди с его характером или доходят до цели, или гибнут в пути. Такие с полдороги не возвращаются.

Спустился с сеновала и заглянул в хлев. В нем лежали две овцы. Просунув морды в кормушку, они выбирали остатки сена. На соломенной подстилке, прядая чуткими ушами, лежал годовалый жеребенок. Я подошел к нему, и он трепетно вскочил на свои тонкие, стройные ноги. В кармане у меня лежал кусок хлеба. Я достал его и протянул жеребенку. Он ткнулся мордочкой в ладонь, обнюхал хлеб, но есть не стал. «Сосунок еще», — подумал я и обнял теплую шею жеребенка. Или нервы стали сдавать, или что-то колыхнулось в душе, но я почувствовал, как на глазах моих навертываются слезы, как прыгают мои губы, и я шепчу: «Спаситель... Если б не ты...»

Под вечер в деревню вернулись старик, старшина и двое солдат. По их лицам я понял, что веселиться нечему.

— Ну как? — был мой первый вопрос.

— Все в порядке, приказ командира дивизиона выполнен, продукты доставлены в четыре часа утра. Чуть не заблудились.

— А где же наша машина с продуктами?

Старшина отвернулся и ничего не сказал.

— Померзли все, — ответил за него круглолицый безусый солдат, выговаривая по-ивановски на «о». — Замело до самой маковки, насилу отрыли.

Дочь хозяина, которая стояла у печки и делала вид, что хлопочет над чугунами, вдруг распрямилась и строго посмотрела на солдата.  
— А как Вася? — спросила она дрогнувшим голосом.

Солдат нахмурился.

— Тоже... Прямо в кабине замерз.

Лицо девушки как-то сразу побледнело, из рук ее выпала мокрая тряпка. В первую минуту она еще не вполне осознавала, что случилось. Потом схватила с гвоздя шубейку, накинула ее на плечи и, пряча глаза, выбежала из избы.

Молчание было тягостным, холодным. Хозяйка всхлипнула и поднесла к глазам передник.

— Он звал ее к себе, на Алтай... Говорил, как только кончится война — так сразу приедет за ней и увезет к себе на родину... А уж как по сердцу пришлось друг другу!.. Две недели всего у нас стоял, а стали как родные голубки.

Я не знал, о каком Васе идет речь. Но тут сразу вспомнил солдата, замерзшего в кабине, и спросил:

— В чем он одет?

— В фуфайке...

— А на шапке, вот здесь, есть подпалинка?

Хозяйка кивнула головой и снова спрятала лицо в передник.

— Не заметили звездочку на шапке?.. С трещинкой?

— Он... Он... — сквозь всхлипы ответила хозяйка и, вытерев слезы, подошла к печке.

И снова немое молчание сковало избу.

— Как в дивизионе? — спросил я у старшины, со страхом дожидаясь ответа.

— Там тоже трое сняты с довольствия.

— Что-о-о-о?

— Вечером будут хоронить. Рюкзак братскую могилу. Некоторые пообморозились, в госпиталь отвезли.

Дрожащими пальцами с трудом мне удалось свернуть папироску.

— Пехоте досталось еще больше!.. — покачал головой круглолицый солдат с ивановским говорком. — Ужась одна! Старик говорил, за семьдесят пять лет такой страсти не видал, чтоб в марте месяце так мелко.

Тяжело потерять в бою даже неизвестного, только что прибывшего в твой взвод солдата-новичка. Еще горше расстаться с тем, кто уже не раз ходил с тобой в бой и делился последней щепоткой махорки. И очень больно бывает, так больно, что хочется припасть к земле и, чтоб никто не видел, вдоволь нарыдаться, когда теряешь друга, с кем ходил не раз на смерть.

О Загороднюке я спрашивать боялся.

— А Лука?

Старшина махнул рукой:



— Этому что!.. Его можно целый год на Северном полюсе в одних трусах держать и никаким морозом не пробьешь. Сразу, как только раздали продукты, умял всухомятку полкило сухарей и банку тушенки.

И, не испытывая себя больше терпением и выдержкой, я спросил в упор:

— А Загороднюк? Как Загороднюк?

— Он... — старшина помедлил. И это минутное промедление мне резануло сердце. «Ну, скорей же, не молчи!.. Руби сразу!..» — Этого, может, спасут. Но положение серьезное. Обморозил обе ноги.

Представив себе высокого двадцатидвухлетнего красивого Загороднюка безногим, я почувствовал, как мне тяжело стало дышать. В избе как-то сразу стало душно, тесно.

— Где он?

— Отправили в госпиталь.

Я вышел во двор. На улице сгущались вечерние сумерки. Где-то далеко впереди слышалась артиллерийская канонада. Это били наши пушки. Наступление продолжалось.

Все это было давно. И, может быть, не вспомнил бы я эти страшные метельные ночи на 1-м Белорусском фронте, если бы не случай. Недавно, пересекая шумную улицу, я случайно бросил взгляд на безногого человека, сидевшего за рулем в инвалидной коляске. Лицо мне показалось таким знакомым, что я невольно остановился и, взглядываясь в суровое лицо инвалида, спрашивал себя: «Где?.. Где я видел его?.. Ну где?..» Но вспыхнул зеленый глазок светофора, и трехколесная тележка вместе с потоком больших и быстрых машин двинулась по широкому асфальтированному шоссе.

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

Бабкин лазарет ( <i>повесть</i> ) . . . . .	3
Метель ( <i>рассказ</i> ) . . . . .	32

Иван Георгиевич ЛАЗУТИН

### БАБКИН ЛАЗАРЕТ

Редактор Ю. С. Новиков

Технический редактор О. Н. Ласточкина

---

Сдано в набор 13.07.83. Подписано к печати 12.09.83. А 00721. Формат 70×108<sup>1/32</sup>. Бумага газетная. Гарнитура «Школьная». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 3,16. Тираж 100 000. Изд. № 2195. Зак. № 1097. Цена 20 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.  
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.



## **ЛОТЕРЕЯ «СПРИНТ»**

**Главный выигрыш—автомобиль «Волга».**

**В числе выигрышей—денежные суммы от одного до пяти тысяч рублей, а также автомобили и мотоциклы различных марок.**

**В специальных выпусках разыгрываются денежные выигрыши от трех до 10 000 рублей, 20 автомобилей, в том числе две «Волги».**

**В серии, состоящей из двух миллионов билетов, свыше 400 000 выигрышей.**

**Результат можно узнать сразу. Размеры денежных и наименования вещевых выигрышей указаны на билетах, запечатанных в конверты.**

**Доходы лотереи «Спринт» направляются на развитие физкультуры и спорта, главным образом на спортивное строительство, на организацию физкультурно-массовых мероприятий.**

**Билеты спортивной денежно-вещевой лотереи «Спринт» продаются в киосках «Спортлото».**

**Желаем удачи!**

**Главное управление спортивных  
лотерей Спорткомитета СССР**